

## П Р И Л О Ж Е Н И Е П

### ПОКАЗАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ОТЗЫВЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА СЛЕДСТВИИ И НА СУДЕ

#### 1

1862 года октября 30 дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии содержащийся под арестом Николай Чернышевский на предложенные ему вопросы показал:

**Вопрос\*.** Как ваше имя, отчество и фамилия, из какого звания вы происходите и в каком чине состоите; сколько вам от роду лет; какого вы вероисповедания, бываете ли ежегодно на исповеди и у св. причастия, а если не бываете, то почему; на ком вы женаты и если имеете детей, то какого они возраста и где находятся; где вы воспитывались; когда окончили воспитание; после сего где именно вы проживали и чем занимались; по какому ведомству состояли на службе и какие занимали должности; числитесь ли вы теперь в службе, а если находитесь в отставке, то с которого времени; имеете ли вы или жена ваша недвижимую собственность, где и какую; не были ли до настоящего арестования под судом или следствием, если были, то когда, за что, где дело производилось и чем кончилось?

**Ответ.** Николай Гаврилович Чернышевский. Происхожу из духовного звания; имею чин титулярного советника и нахожусь в отставке; вероисповедания православного. На исповеди и у св. причастия бывал, но не ежегодно, пропуская иногда обычное время говения по множеству занятий. Женат на дочери покойного коллежского (или статского — не помню) советника Сократа Евгеньевича Васильева, служившего врачом при Саратовской удельной конторе; имя моей жены Ольга Сократовна. Мы имеем двух сыновей: Александра, 8 лет, и Михаила, 4 лет. Жена и дети мои находятся ныне в Саратове.

От роду мне 34 года. Воспитывался сначала в Саратовской духовной семинарии, потом в Петербургском университете, в котором кончил курс в 1850 или 1851 году (кажется, в 1850, но не ручаюсь, что именно тогда, а не годом позже.)

По окончании курса служил сначала преподавателем во 2-м кадетском корпусе, потом (весною 1851 года, кажется) уехал учителем гимназии в Саратов; весною 1853 года возвратился в Петербург и служил года два опять преподавателем во 2-м кадетском корпусе; прослужив срок, требующийся для утверждения в чине, вышел в отставку, — кажется в начале 1856 или, может быть, и в начале 1855 года (последняя цифра, вероятно, точнее, но не помню хорошенько; потом, через год или год с небольшим, причислялся

\* В оригинале вопросы и ответы идут параллельно в два столбца.

на службу в С.-Петербургское губернское правление, не принимая никакой должности в нем, лишь бы считаться на службе, в угоджение отца, которому это нравилось. Такое зачисление на службу устроил тогдашний петербургский вице-губернатор, г. Муравьев; когда он был переведен из Петербурга, и поступил новый вице-губернатор, незнакомый мне, разумеется, нельзя стало мне числиться на службе, не неся никаких занятий по ней, и я вышел в отставку — кажется, в 1858 году, а может быть, и в 1859, — не припомню хорошенько.

Недвижимую собственность я имю: по наследству отца своего и своей матушки дом в городе Саратове и несколько десятин земли (должно быть, 25 или 30 десятин в Аткарском уезде Саратовской губернии).

Под судом не был.

С 1854 года, т. е. почти с самого возвращения в Петербург из учительства в Саратове, занимался литературою.

Вопрос. С кем вы знакомы в Петербурге, Москве и других местах России, равно за границею; и по какому случаю с каждым из них познакомились и в каких находились отношениях?

Ответ. Занимаясь в течение нескольких лет редакциею одного из больших журналов, я должен был быть знаком с сотнями или тысячами лиц в России. Пересчитывать их всех здесь было бы слишком долго, да и напрасно, — напрасно потому, что нужно только пересчитывать людей, писавших в журналах петербургских и московских, и тот, кто потрудится пересчитывать их, будет пересчитывать почти всех знакомых мне. Отношения эти у меня к ним были чисто литературные, — по помещению статей в журнале «Современник» и по плате денег за статьи. — По случаю помещения статей г. Мечникова в «Современнике» я писал ему раза два или три в Италию, где он тогда (в первой половине 1862 года) жил. Содержание писем моих к г. Мечникову было таково: «такая-то статья ваша получена или напечатана мною. Деньги за нее вам посылаются или будут посланы».

Вопрос. По имеющимся в комиссии сведениям, вы обвиняетесь в сношениях с находящимися за границею русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду против нашего правительства, и сообщниками их в России; равно в содействии им к достижению преступных их целей.

Объясните: с кем именно из этих лиц вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши вследствие оных действия, а также, кто участвовал с вами в этом деле?

Ответ. Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было. Под русскими изгнанниками тут, вероятно, разумеются гг. Герцен и Огарев (это предположение я высказываю здесь потому, что их фамилии мне были сказаны лицом, предлагавшим мне изустные вопросы), всему литературному миру известно, что я нахожусь в личной неприязни с ними по делу Огарева с г-жею Панаевою из-за имения, которым управляла г-жа Панаева по доверенности г. Огарева. Неприязнь эта давнишняя.

Каких соумышленников имеют и имеют ли или нет каких соумышленников в России гг. Герцен и Огарев — мне неизвестно.

Я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагаются подобные вопросы.

Прибавлю, что и по делу г. Огарева с г-жею Панаевой я не имел ни с Огаревым, ни с Герценом никаких сношений. Точно так же не имел я сношений ни с кем другим из русских изгнанников.

## 2

1862 года ноября 1 дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии отставной титулярный советник Чернышевский и на предложенный ему вопрос показал:

Вопрос. На предложенный вам комиссией 30 минувшего октября, на основании имеющихся в оной сведений, вопрос: с кем из находящихся за

границей русских изгнанников и других лиц, распространяющих злоумышленную против нашего правительства пропаганду, равно с сообщниками их в России, вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши, вследствие оных, действия, а также кто участвовал с вами в этом деле, вы вместо прямого и категорического ответа обратились к комиссии с вопросом, выражив его следующими словами: «Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было» и далее говорите: «я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагают подобные вопросы». Комиссия, признавая эти выражения в ответе на вопрос ее совершенно неуместными и имея в виду 182 ст. 2 кн. XV тома Св. зак. уголов., по которой ответы должны излагаться без всяких околичностей, — предлагает вам по содержанию вышеприведенного вопроса дать объяснение, согласное с требованием закона.

Вопрос предлагали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Отв.т. Ни с кем из лиц, распространяющих злоумышленную против правительства пропаганду и ни с кем из находящихся за границей русских изгнанников и ни с кем из их сообщников в России я не был ни в каких сношениях.

Отставной титул. сов. *Н. Чернышевский*.

Прибавлю, что мне неизвестно, находятся ли таковые сообщники у них в России.

Отст. титул. сов. *Н. Чернышевский*.

### 3

Совершенно согласен на выдачу г. Некрасову рукописей журнала «Современник». *Н. Чернышевский*. 5 декабря 1862. — Точно так же согласен на выдачу их г. Салтыкову или всякому другому лицу, которое будет назначено г. Некрасовым для получения их. — *Н. Чернышевский*. 5 дек. 1862.

### 4

Прошу отдать рукопись перевода XV тома Шлоссера в типографию Огрызко, где печатается перевод этого сочинения. Типография г. Огрызко находится на углу Могилевской и Канонирской улиц (за Большим театром, в Коломне, близ Садовой) в доме Петрашевской. Отдать рукопись или самому хозяину типографии, или г. управляющему типографией, фамилии которого не знаю, или фактору типографии г. Зарудкому, — кому-нибудь из них, это все равно. Они знают, что с нею делать, потому что уже напечатали несколько томов этого издания. *Н. Чернышевский*. 18 дек. 1862 г.

### 5

1863 года марта 16 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, отставной титулярный советник Николай Чернышевский, на предложенные ему вопросы, показал:

Вопрос 1. На предложенные вам комиссией, 30 октября и 1 ноября 1862 года, вопросы: с кем из находящихся за границей русских изгнанников и других лиц, распространяющих злоумышленную против нашего правительства пропаганду, равно с сообщниками их в России, вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши вследствие оных действия, а также кто участвовал с вами в этом деле, вы объяснили, что «ни с кем из лиц, распространяющих злоумышленную против правительства пропаганду, ни с кем из находящихся за границей русских изгнанников и ни с кем из их сообщников в России вы не были ни в каких сношениях, и что вам неизвестно, находятся ли таковые сообщники у нас в России». Между тем, в виду комиссии имеется письмо находящегося в Лондоне изгнанника Герцена к отставному надворному советнику Николаю Серно-Соловьевичу, в котором

Герцен писал: «мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве». Так как готовность на издание «Современника» в Лондоне или Женеве не могла быть выражена Герценом без предварительного на сие со стороны вашей согласия, то комиссия предлагает вам дать подробное объяснение как по сему предмету, так и по содержанию вышеприведенных вопросов.

От в е т. Подтверждаю прежнее показание и совершенно не знаю, на каком основании г. Герцену вздумалось, что я мог согласиться издавать с ним журнал, ибо никаких сношений с ним не имел, ни прямых, ни через какое-либо посредство.

В о п р о с 2. В числе найденных у вас при обыске бумаг оказалось письмо с выскобленными в нем многими словами. В нем, между прочим, говорится: «истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому, что наши шалят. Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Чер. поручил тому господину, который в... (слово выскоблено) не попал сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Такой скептицизм равен тунейдству и составляет преступление. А между тем он человек с влиянием на юношество, на что ж это похоже. Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрясите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в «Современнике» статью прямо против нас; т. е. что напрасно мол говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало вздор, что Европа не умирает потому, что когда одному человеку 60 лет, то зато другому 20 лет и что те, кто это говорят, дураки и лжецы, с намеком, что речь идет об нас и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим, да еще действительно с преднамеренной ложью? Плохо дело! Горе, когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона! Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа правды и доблести из-за личных страстишек и видов, продажа дела из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. Вдобавок в этой статье сказано, что растение умирает от того, что питательные соки перестают в него из земли с любовью всасываться. Хорош скептицизм! Нет! Поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Но! Будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а помехой делу, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружеским, но военным кулаком по такой дребедени». Далее в письме говорится о требовании со стороны издания, о тройной форме присяги, о подписке на сбор денег, об учреждении контор на трех торговых пунктах: как-то: Нижегородской ярмарке, которая либо из приднепровских и в Ирбите или в ином урало-сибирском пункте, о проекте местных банков, системе рекрутства и в заключение выражено: «мы никогда бы не догадались, что Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником». Предъявляя вам это письмо, комиссия требует, чтобы вы подробно и с полной откровенностью объяснили: когда, от кого и по какому случаю вы его получили? Кем и кому оно писано? Кем, для чего и какие выскоблены в нем слова? Что означают выражения письма: «Чер. поручил тому господину, который в... не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет». «Он человек с влиянием на юношество» ... до сих пор сами держались этим знаменем» ... «Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником».

О т в е т. Письмо это я получил по городской почте весною (или в начале лета) 1862 г.; кем оно было мне прислано — не знаю. По тону речи и языку видно, что оно писано гг. Огаревым и Герценом (почерков их я не знаю, потому сужу только по содержанию письма); к кому оно писано — неизвестно мне. Кем и для чего и какие слова выскоблены в нем — я не

знаю, — оно было прислано ко мне со словами, уже выскобленными, вероятно, посылавший его ко мне хотел, чтобы не знал я его фамилии и других: вероятно, выскобленные слова — фамилии. Лицо, которому я поручал передать Герцену, чтобы он не завлекал молодежь в политические дела, — г. М. И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 года. Слова, что я «имею влияние на юношество», означают, что я, как журналист, пользовался уважением в публике. «Знамя», о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное землевладение, которое я постоянно защищал, но относительно которого все-таки выражал сомнение, удержится ли оно против расположения к потомственному землевладению, — это объясняется в статье «Современника» (моей), которую Герцен остался недоволен; выражение «ехали вместе» относится к тому, что я, подобно Герцену, защищал обычное наше общинное землевладение. Поручение М. И. Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела основывал я на общеизвестных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию, — я поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего, ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастию самих агитаторов.

**Вопрос 3.** Кем составлен найденный у вас при обыске алфавитный ключ на 4 картонных бумажках? Вели ли вы по оному и с кем переписку? До каких предметов относилась эта переписка, и кому, кроме вас, еще известен этот ключ?

**Ответ.** Эти лоскутки заключают в себе какую-то азбучную шалость, составленную неизвестно мне кем из моих родственников, живавших у меня.

**Вопрос 4.** Из дела видно, что вы были знакомы с бывшим губернским секретарем, ныне политическим преступником Михайловым, отставным подполковником Шелгуновым и разжалованным по суду в рядовые, за распространение возмутительных сочинений, дворянином Всеволодом Костомаровым. Когда вы с ними познакомились; какие были ваши к каждому из них отношения, как часто они бывали у вас, равно вы у них и где именно?

**Ответ.** С Михайловым я познакомился, когда был студентом, а он вольнослушающим, — потом выдвгались, — почти всегда по журнальным делам (г. Михайлов читал корректуры «Современника», по желанию г. Некрасова). С г. Шелгуновым я был знаком уже через г. Михайлова, — кроме того, он помещал статьи в «Современнике»; это знакомство было слишком не близкое. Г. В. Костомарова я видел несколько раз по тому случаю, что он помещал стихи в «Современнике». У г. Михайлова и г. Шелгунова я бывал; к г. Костомарову заезжал однажды отдать деньги за стихи (когда проезжал через Москву в Саратов). Г. Михайлов и Шелгунов бывали у меня по журнальным делам. Собственно журнальными делами ограничивалось мое знакомство с гг. Костомаровым и Шелгуновым. О (зачеркнуто: тайной прессе) распространении возмутительных сочинений г. Костомаровым я ничего не знал, о преступлении г. Михайлова точно так же ничего. Под журнальными делами, которые имел с г. Шелгуновым и Костомаровым, я разумею то, что г. Шелгунов приносил мне свои статьи, а г. Костомаров — свои стихи для помещения в «Современнике»; я никому из них никаких поручений не давал.

**Вопрос 5.** Кто ваши знакомые в Москве и в каких вы с ними отношениях? Ездили ли вы в 1861 и 1862 годах в Москву, к кому и с какой целью? Сколько времени там оставались, где проживали и кого посещали?

**Ответ.** Из лиц, живших в Москве, я был знаком с г. Плещеевым. В 1861 г. весной я ездил в Москву хлопотать по цензурным делам и прожил там дня три; в 1862 г. я проезжал через Москву в Саратов и пробыл там несколько часов. Бывши в 1861 г. в Москве, я бывал у г. Каткова. Жил в гостинице против дома Шипова, — вероятно, на Лубянке. Г. Плещеев — литератор, постоянно помещавший повести в «Современнике», других отношений к нему у меня и не было.

**Вопрос 6.** В комиссии имеется сведение, что в 1861 г. вы написали возмутительное воззвание, под заглавием «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и передали его, для отпечатания и распространения,

приезжавшему из Москвы в С.-Петербург студенту тамошнего университета Сороко, которому дали на напечатание воззвания 200 руб. сер., что в изготовлении этого воззвания принимали участие Михайлов, Костомаров и Шелгунов. Комиссия, напоминая вам 170 ст. XV т. Св. зак. угод. требует, чтобы вы с полной откровенностью и подробно объяснили все обстоятельства, относящиеся до написания и намерения распространить означенное воззвание, а также писали ли вы, кроме означенного воззвания, какие-либо другие статьи для печати, по поводу высочайше учрежденного Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах?

Ответ. Ничего подобного я не писал. Эти сведения неосновательны. Г. Сороко я не знаю; ни с Михайловым, ни с Костомаровым, ни с Шелгуновым ничего подобного не говорил и никаких статей для тайной печати не писал. Г. Костомарову никакой статьи о крестьянском деле не передавал. Все, что я писал, печаталось в «Современнике». Г. Костомаров не имел никакого участия в моей деятельности, которая всегда была открыта и законна. Никогда не имел я никаких сношений с Костомаровым по тайному печатанию и ничего не поручал печатать. Но подарил ему сборник рукописный — лирические стихотворения, которые когда-то хотел издать с книгопродавцем Вольфом и который валялся у меня брошенный.

Вопрос 7. В комиссии имеется сведение, что вы, кроме составления воззвания к барским крестьянам, принимали участие в написании еще другого воззвания, озаглавленного «Русским солдатам от их доброжелателей поклон», написанного подполковником Шелгуновым, при содействии Костомарова и Михайлова. Объясните все обстоятельства, относящиеся до участия вашего в составлении сего воззвания.

Ответ. О воззвании к русским солдатам я ничего не знаю.

Вопрос 8. В комиссии имеется сведение, что в том же 1861 году вы, при участии Всеволода Костомарова, в Знаменской гостинице, где нанимали номер, проектировали воззвание к раскольникам, под заглавием: «Поклон старообрядцам». С какой целью проектировано было вами сие воззвание и что побудило вас к сему действию?

Ответ. Ничего такого не было. Эти сведения неосновательны.

Вопрос 9. Кто такой раскольник Ярославской губернии Дорофей, бывший с вами в сношениях? Где он находится, когда и какие имели с ним сношения?

Ответ. Ничего подобного не было. Никакого Дорофея я не знаю.

Вопрос 10. Вы поименовали из знакомых ваших в Москве только одного Плещеева, равно сказали, что ваше знакомство с Костомаровым ограничивалось собственно журнальными делами, между тем, из писем ваших, вам у сего предъявляемых, оказывается, что вы имели в Москве знакомых: Котляревского и Свириденко, а также, что сношения ваши с Костомаровым касались не одних журнальных дел, но и других обстоятельств; а потому комиссия вновь требует, чтобы вы поименовали всех ваших знакомых в Москве и объяснили: кто такие Котляревский и Свириденко и какие были ваши к каждому из них и к Костомарову отношения.

Ответ. Мои слова не имели того смысла, что я знаком в Москве только с одним г. Плещеевым, — я вспомнил о нем потому, что больше знаком с ним, чем с кем другим, хотя все-таки не слишком близко; будучи знаком с г. Костомаровым только по журнальным делам, и по своей привычке помогать всякому нуждающемуся принимал человеческое участие в его стесненном положении, — просто по чувству доброты. Г. Котляревский — преподават. в каком-то московск. кадетск. корпусе; я был знаком с ним как с литератором и человеком ученым. Г. Свириденко — служит в книжном магазине Кожанчикова. Я был несколько знаком с ним, как с человеком образованным; он искал моего знакомства, — я не могу отказать от посещений, мне делаемых, — у меня такой характер, слишком деликатный. Ни с г. Котляревским, ни с г. Свириденко я не был близок.

Вопрос 11. Вы показали, что воззвания «К барским крестьянам» не писали, а равно никакой другой статьи для печатания, по поводу высочайше

утвержденного Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах, не писали и Костомарову не передавали, между тем, из предъявляемой вам комиссией собственноручной записки вашей видно, что вы поручали Всеволоду Костомарову печатать подобную статью, а из следственного дела, в правительствующем сенате о Костомарове производившегося, оказывается, что в находившемся у Костомарова воззвании к барским крестьянам заключаются именно те выражения «срочно обязанные крестьяне», кои вы в означенной записке просите заменить выражением: «временно обязанные крестьяне». А потому комиссия вновь требует от вас чистосердечного показания о вашем действии в составлении сказанного воззвания и о всех участниках в этом действии, равно как об участии вашем в составлении воззвания к русским солдатам и в проектировании воззвания к раскольникам?

О т в е т. Предъявленная мне записка не моего почерка; я не признаю ее своею и потому остаюсь при прежнем ответе.

6

1863 года марта 19 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, отставной титулярный советник Николай Чернышевский, на предложенный ему вопрос, показал:

В о п р о с. Вы показали, что поручали Михайлову, при отъезде его в Лондон, сказать Герцену, чтобы сей последний не завлекал молодежи в политические дела, а как из сего очевидно, что вы знали о намерении Михайлова иметь в Лондоне с Герценом сношение и сближение, последствием которых и было, по возвращении Михайлова в Россию, распространение возмутительного воззвания «К молодому поколению», то комиссия требует от вас чистосердечного показания всего, что вам известно о действиях, как Михайлова, по сочинению и распространению воззвания, так его сообщников, а равно и о вашем участии в сих действиях?

О т в е т. М. И. Михайлов, отправляясь за границу, упомянул мне, что если он поедет в Англию, то может быть, увидится с Герценом. Больше мне ничего не было известно. О намерениях Михайлова издавать что-нибудь тайное я не знал. О сообщниках его тоже не знал и сам никакого участия ни в каких замыслах г. Михайлова не принимал.

19 марта 1863 г. Отст. тит. советн. Н. Чернышевский.

Вопрос предлагали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

7

1863 года марта 19 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, дана была очная ставка рядовому из дворян Всеволоду Костомарову с отставным титулярным советником Николаем Чернышевским, на которой:

Я с своей стороны подтверждаю свои прежние показания:

а) Что был введен в дом к г. Чернышевскому Михайловым, что г. Чернышевский, в присутствии Михайлова, читал мне возмуг. воззвание «К барским крестьянам», написанное им, Чернышевским.

б) Что впоследствии я получил от Сороки это воззвание в несколько измененном виде; причем Сорока мне сказал, что получил это воззвание от Чернышевского вместе с 200 р. на издержки по тайному напечатанию брошюры.

с) Что печатание воззвания началось у меня в доме и г. Чернышевский посетил меня, видел набор этого воззвания и оставил мне денег на дальнейшее производство работы.

д) Что прийдя ко мне в другой раз он не застал меня дома и оставил на столе предъявленную мне записку, в которой просил меня исправить в своей брошюре, неверно написанное им, выражение «срочно обязанные» и заменить его словами «временно обязанные».

е) Что весной 1861 г. в Знаменской гостинице г. Чернышевский диктовал мне воззвание к раскольникам, — с тем чтобы я напечатал и его, но я этого не исполнил.

ф) Что я писал к г. Чернышевскому о том, что он поступил весьма неосторожно, поручив печатание своей брошюры Сороко.

г) Перед поездкой в Знаменскую гостиницу г. Чернышевский заехал в квартиру моего отца, на Поварскую. Знамен. гостин. я запомнил тем, что изрезал подоконник перочинным ножом, взятым нами в числе принадлежностей для писанья.

Рядовой из дворян Всеволод Дмитриев Костомаров.

Я с своей стороны остаюсь при прежних своих ответах:

а) Кем и когда я был познакомлен с Костомаровым я не припомню. Возвания к барским крестьянам в присутствии г. В. Д. Костомарова вместе с г. М. И. Михайловым я не читал и этого возвания не писал.

б) С г. Сорокой я не знаком; потому денег ему не давал ни на тайное печатание, ни на что другое, не давал ему и возвания к барским крестьянам.

с) Набора у г. Костомарова я не видел, денег на работу ему не оставлял.

д) Записка эта не писана мною.

е) В Знаменской гостинице я не был с г. Костомаровым и возвания к раскольникам ему не диктовал.

ф) Такого письма от г. Костомарова я не получал.

г) На квартире у бабушки г. Костомарова в Поварском переулке я был, но оттуда отправился прямо домой.

Отставн. титул. советн. *Н. Чернышевский.*

19 марта 1863 г.

Очную ставку давали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

8

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, была дана очная ставка рядовому из дворян Всеволоду Костомарову с отставным титулярным советником Чернышевским, на которой:

Я, Костомаров, уличал г. Чернышевского в том, что: в бытность мою у г. Чернышевского, он читал мне сочиненное им воззвание к барским крестьянам, которое я впоследствии в несколько измененном виде, по просьбе и поручению Чернышевского, стал печатать, — что г. Чернышевский, посетив меня весной 1861 в Москве, видел у меня набор этого возвания и дал денег на издержки по типографии; что посетив меня летом того же года, Чернышевский, ходя со мной по саду, уговаривал меня продолжать прерванное мной печатание его брошюры; что в бытность мою в Петербурге Чернышевский, наняв в Знаменской гостинице номер, диктовал мне воззвание к раскольникам с тем, чтобы потом я напечатал и его; что во время второго посещения меня в Москве (весной), не застав меня дома, Чернышевский оставил мне предьявленную мне в комиссии записку. — При том, — хотя г. Чернышевский и уверяет, что свидание наше летом происходило в беседе, но я этого не помню; напротив, уверен, что мы говорили с Чернышевским, гуляя по саду.

Рядовой Костомаров. 1863 г. 12 апреля.

Я, Чернышевский, остаюсь при своем прежнем показании: когда г. Костомаров был у меня, я не читал ему никакого возвания к барским крестьянам; печатать такое возвание не просил я г. Костомарова; бывши в Москве весной 1861 г. у г. Костомарова, я не видел набора, денег на издержки по типографии я не давал ему; летом (в августе), бывши у него, не уговаривал его печатать этого возвания; в Знаменской гостинице с г. Костомаровым не



был и воззвания к раскольникам не диктовал ему. В бытность мою в Москве весной я не оставлял записки г. Костомарову. При свидании летом мы сидели с г. Костомаровым в беседке, а по саду с ним не гулял.

12 апреля 1863 г. *Н. Чернышевский.*

Очную ставку давали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: [4 подписи].

9

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, была дана очная ставка московскому мещанину Петру Яковлеву с отставным титулярным советником Чернышевским, на которой:

Я, мещанин Петр Васильев Яковлев, на очной ставке с г. Чернышевским утверждал прежде данные мной показания и уличал г. Чернышевского в том, что он ходил по саду с г. Костомаровым об руку, а не сидел в беседке (как упорно утверждал г. Чернышевский) и говорил те слова, о которых упомянуто мной в прежнем показании и что г. Чернышевский был в Москве не два раза, как отзывается он, а три. В дополнение к прежнему моему показанию присовокупляю, что в первое посещение г. Чернышевским Костомарова они сидели в кабинете последнего и г. Чернышевский разговаривал что-то с жаром, тихо и, повидимому, осторожно, разговора же их в то время я слышать не мог, потому, что входил в комнату один раз, подавая им чай или закуску, чего хорошенько припомнить не могу, во второй раз г. Чернышевский не застал Костомарова дома, а оставил ему запечатанную записку, написанную им в комнате Костомарова на бумаге, лежащей на столе и кажется сторожа одной была написана (ч...)

Московский мещанин Петр Васильев Яковлев

В бытность мою в Москве (приезжал в августе 1861, а не в июне, как я теперь соображаю) я заходил к г. Костомарову на несколько времени и просидел это время у него в беседке.

Я был в Москве в 1861 году до конца августа только два раза, а не три, — никакой записки г. Костомарову в бытность мою в Москве я не оставлял, потому что заставал его дома, когда заходил.

12 апр. 1863 г. Отст. титул. соз. *Н. Чернышевский.*

Засим я положительно отвергаю слова г. Яковлева, будто я говорил в августе или когда-нибудь г. Костомарову, чтобы он напечатал тайно что-нибудь. 12 апр. 1863. *Н. Чернышевский.*

Очную ставку давали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

10

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, отставной титулярный советник Чернышевский, на предложенный ему вопрос, показал:

Вопрос. В данном вами на вопросы комиссии 16 марта сего года показании вы объяснили, что воззвания к барским крестьянам не писали, с Всеволодом Костомаровым об оном не говорили и никакой статьи о крестьянском деле ему не передавали, равно никогда не имели с Костомаровым никаких сношений по тайному печатанию и ничего ему не поручали печатать. Между тем, в комиссии имеется сведение, что вы, в бытность в Москве, три раза посещали Костомарова: первый раз в феврале или марте м-цах 1861 г., второй раз вскоре после того и третий в июле того же 1861 г., что в последний раз вы ходили с Костомаровым под руку в сад и в разговоре с ним упоминали о воззвании к барским крестьянам и усиленно упрашивали Костомарова поскорее напечатать эту статью.

Комиссия требует от вас подробного и чистосердечного объяснения всех обстоятельств, относящихся до написания вами воззвания к барским крестьянам, и сношений ваших по сему предмету с Всеволодом Костомаровым и другими лицами?

Вопрос предлагали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

О т в е т. Повторяю, что никогда не имел сношений с г. В. Д. Костомаровым по тайному печатанию. У него на квартире я действительно был в Москве в обе свои бытности в Москве, — весной и в июле 1861. Когда я заходил к г. Костомарову в июле, я нашел его по указанию кого-то из его домашних действительно в беседке в саду. Ни при этом, ни в другие бытности мои у г. Костомарова я не говорил с ним о том, чтобы он напечатал тайным образом какую бы то ни было статью. Я бывал у него только по журнальным отношениям, чтобы отдавать ему деньги за стихи.

12 апреля 1863. Отст. титул. сов. *Н. Чернышевский.*

И никакого разговора о тайном печатании у меня с ним не происходило ни в то время, о котором говорит он в этом вопросе, ни в другое; и никак не мог я просить его о напечатании статьи, которой не знал, не только не давал ему.

12 апреля 1863 г. *Н. Чернышевский.*

При даче ответа присутствовали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

11

На предъявленных мне 29 мая 1863 года в присутствии 1-го отделения 5-го департамента Пр[авительствующего] сената гг. судей сенаторов и находящихся при сем г. обер-прокурора и г. обер-секретаря подозрения не имею. Отставной титул. советн. *Н. Чернышевский.*

12

1863 года мая 29 дня я, нижеподписавшийся, в Присутствии 1-го отделения 5 департамента Пр[авительствующего] сената дал сию подписку в том, что пристрастных вопросов мне делано не было и прочитанные мне отобранные от меня показания мои на допросах и очных ставках я утверждаю. Имея сделать дополнения к этим показаниям, подам их в особом объяснении. Отст. тит. советн. *Н. Чернышевский* \*.

\* 1863 года 29 дня. В журнале 1 отделения 5-го департамента правительствующего сената записано:

С л у ш а л и:

Словесное прошение вытребованного сего числа из крепости отст. тит. сов. Чернышевского о том, чтобы 1) ему дозволено было подать особое объяснение по делу о нем производящемуся, 2) чтобы дозволено ему было иметь свидание с родственниками, 3) чтобы разрешено было отдать его на поруки и 4) чтобы он допущен был к чтению и рукоприкладству под запискою, которая составлена будет по его делу.

П р и к а з а л и: 1) г. спбургскому военному губернатору предписать указом, когда будет изготовлено Чернышевским объяснение, представить оное в сенат установленным порядком и вместе с тем дать знать ему указом, что пр. сенат с своей стороны не находит препятствия к свиданию Чернышевского с родственниками его, если это не противно правилам о содержащихся в крепости под арестом, 2) просьбу Чернышевского об освобождении на поруки иметь в виду при докладе вопроса о том, может ли он быть освобожден на поруки, или должен содержаться в крепости, и 3) по дополнении дела всеми сведениями и по изготовлении (записки) допустить Чернышевского к чтению оной и к рукоприкладству, о чем, записав в журнал, сдать с сей статьи в экспедицию копию. Подлинный — за подписанием гг. сенаторов.

Это показание заключает в себе шесть листов.  
1 июня 1863.

Отст. тит. сов. Н. Чернышевский.

### Общие пояснения

I. Против каждого из обвинений я выставляю такие факты, большая часть которых общеизвестна в кругу, близко знающем меня. Доказывать их теперь же ссылками на свидетелей и отысканием документов значило бы усложнять и затягивать дело. Поэтому беру на себя смелость просить, чтобы Правительствующий сенат принимал настоящее показание за окончательное по полноте доказательств только относительно тех из указываемых мною фактов, в верности которых не останется сомнения у Правительствующего сената по выслушании настоящего показания, и чтобы Правительствующий сенат предоставил мне право привести более полные доказательства на те факты, которые по мнению сената еще нуждаются в дальнейшем подтверждении.

II. Мне известно, что кроме обвинений, против которых я могу теперь прямо оправдываться, потому что они прямо выражены, существовало против меня множество других подозрений. Например, были слухи, называвшие меня возбудителем беспорядков между студентами Спбурского университета осенью 1861 года; возбудителем беспорядка, произошедшего в зале Думы весною 1862 г. на одной из публичных лекций; были также слухи, что я направляю к пропаганде запрещенного характера Главный совет петербургских воскресных школ; что я возбудил профессора Павлова написать и при публичном чтении дополнить резкими прибавлениями ту статью, за чтение которой профессор Павлов был удален из Петербурга (весною 1862); что я даже был участником поджога Толкучего рынка (в конце мая 1862). Мне неизвестно, до какой степени продолжают существовать такие слухи в кругах, в которых они существовали год тому назад; и неизвестно, может ли иметь влияние на мнение моих судей о мне более или менее определенный или неопределенный отголосок таких слухов, — отголосок, дававший мне прежде в мнении многих почтенных людей, не знавших меня лично, репутацию агитатора. Если может, то я прошу, чтобы мне дано было право разобрать и эти подозрения для отстранения сомнений в том, действительно ли я такой человек, за какого меня знают все, хорошо знающие меня лично; — человек очень мирного характера, всегда ставивший главною заботою своею то, чтобы удаляться всяких столкновений не только с уголовным судом, но и с простою полициею.

Выразив эти общие просьбы мои Правительствующему сенату, перехожу к разбору обвинений, находящихся в деле.

1. Пояснения по обвинению меня в намерении уехать за границу, чтоб издавать журнал вместе с Герценом

В конце мая или начале июня 1862 года было остановлено на восемь месяцев издание журнала «Современник», в редактировании которого я участвовал. Через это я приобрел на время свободу жить или не жить в Петербурге. По моим домашним обстоятельствам, мне не бесполезно было переехать на время в мой родной город, Саратов. Мое семейство уехало туда 2 или 3 июля (1862), за 4 или за пять дней до моего ареста. Мы продавали лошадей, экипажи, мебель. Отчасти для окончания этого, отчасти для окончательного приведения в порядок своих литературных дел я должен был остаться в Петербурге еще на месяц. После того я должен был уехать в Саратов и про-

жить там до весны 1863 года вместе с семейством, а весною или летом 1863 г. возвратиться вместе с семейством в Петербург.

Это предположение было известно всем моим знакомым. В искренности его не мог сомневаться никто из знавших мои семейные чувства. Продолжительная разлука с семейством — единственное серьезное страдание, которое я могу чувствовать.

Если б я думал эмигрировать, неужели я проводил бы свое семейство в Саратов, от которого так далеко до Западной Европы, а не прямо за границу из Петербурга? Или я хотел на долгие годы разлучиться с семейством?

В моих руках бывало довольно много денег. Моя жена, уезжая, взяла с собою только 500 р. А мы привыкли расходовать довольно много. Если б я думал, что моей жене придется долго жить без меня в Саратове, неужели она уехала бы из Петербурга с 500 рублей?

При отъезде моя жена не получила от меня доверенности на заведывание моим домом в Саратове. Из этого вышли серьезные домашние неприятности для нее. По характеру ее прежних отношений к моим саратовским родным, я не мог не ждать этого — в случае, если б ей пришлось долгое время оставаться в Саратове без меня. Если б я думал надолго разлучиться с нею эмигрировавшим, неужели я не дал бы ей доверенности, которую при первой возможности поспешил дать, когда был разлучен с нею арестом?

Когда меня арестовали, у меня было только 115 р. А в несколько предыдущих дней я получил до 1500 р. или более. Но я отдал из них 300 р. типографщику, 200 р. торговцу бумагою, остальные роздал сотрудникам «Современника». Мне не было настоящей нужды делать ни одной из этих выдач: бумажный торговец и типографщик могли ждать, сотрудники «Современника» — обратиться за деньгами в контору журнала, вместо которой я заплатил им. Так ли распоряжается деньгами тот, кто собирается эмигрировать?

Сборы моего семейства к отъезду, продажа вещей, — все это делалось длинно, со всею обычною хлопотливостью таких перемен. Надеюсь, что если б я думал эмигрировать, то у меня досгало бы смысла и умения, чтоб уехать, не подав ни малейшего знака намерения двинуться куда бы то ни было из Петербурга, — быть далеко за Берлином или Стокгольмом прежде, чем кто бы ни было подумал бы, что я думаю уехать дальше Павловска, где была у меня дача.

Я был арестован в субботу (7 июля); в понедельник (9 июля) должен был прийти ко мне из типографии Вульфа наборщик (бывший помощником метранпажа по «Современнику») с образцами формата и шрифта для издания, которое я хотел начать печатать дня через 3, 4 после того. Я поручил ему сделать образцы в то самое утро, как был арестован, или накануне. — Фактор другой типографии (г. Огризко) имел поручение поскорее сделать для меня образцы шрифта и формата для другого издания у Вульфа, я хотел печатать маленькие книжки, в которых думал, с разрешения авторов, перепечатывать для простого народа рассказы и отрывки из повестей. У Огризко я хотел печатать перевод Политической экономии Милля, который был уже окончен мною.

Эти два издания должны были начаться через несколько дней, — 12 или 15 июля. Еще недели две, три понадобилось бы мне оставаться в Петербурге, чтоб устроить правильность в чтении корректур, цензирования и т. п. Устроив это, я тотчас отправился бы в Саратов. Но я предполагал очень быстро начать издание, из которых назову три. Я тогда уже имел столько известности, что публика стала бы покупать «собрание» моих «Сочинений». Они составляют массу более 8000 страниц (500 печатных листов в — 8) журнального формата. Я хотел многое выбросить, как не важное, другое сократить, но все-таки оставалось бы листов 300 печатных. Печатание такого огромного числа листов заняло бы много времени. Я рассчитывал сделать это года в два. Но во всяком случае нельзя напечатать такую массу в 3, в 4 месяца. И потом ведь не могло же издание, которое хотел я сделать в 4 или 5 тысячах экземпляров, распродаться в какой-нибудь год. Следова-

тельно, уж это одно издание связывало меня с Россиею не на один год. А я рассчитывал, что оно даст мне несколько десятков тысяч рублей, — это не такой расчет, которым мог бы пренебречь человек без состояния, для удовольствия издавать журнал за границую. Но отнимая у меня всякую мысль об эмиграции, это издание не стоило бы мне почти никакой работы. Печатаю его, я хотел готовить два другие. Я хотел составить два ручные энциклопедические словаря. Один — в два тома лексиконного формата, ценою от 7 до 10 р.; другой — вовсе маленький, страниц в 600 или 700 в 12 долю, ценою рубля в полтора, два. Книгопродавцы знают, что такие книги такой цены имели бы большой успех и, постоянно перепечатываясь, служили бы источником очень порядочного дохода на долгие годы. Я называю только эти три издания потому, что могу указать в моих бумагах расчеты, сделанные для них.

Эти расчеты свидетельствуют, что я не думал о себе иначе, как о человеке, по крайней мере на несколько лет остающемся в России. —

Я перечислил некоторые из фактов, показывающих, что я не думал эмигрировать. Есть другие, свидетельствующие, что я не мог, положительно не мог эмигрировать.

Я уже привык получать и проживать много. Я имел тысяч 10 в год, и больше. Но я проживал все деньги, которые получал. Дом в Саратове и кусок земли в Аткарском уезде, доставшиеся мне по наследству, — имущество слишком незначительное для человека, привыкшего иметь такие деньги от своей работы. Я оставлял и намерен был оставить это имущество и доход с него во владении моих саратовских родственников. Но если бы для эмиграции изменил свою мысль и продал его (к чему не делал никаких приготовлений), все-таки оно не дало бы мне возможности жить за границею. — По особенностям моего образования, я, читая книги на главных европейских языках, решительно не умею, до замечательной странности не умею ни говорить, ни тем более писать ни на одном из них. Следовательно, я не мог очень долго, по крайней мере несколько лет, сделаться французским, немецким или английским литератором. А писать за границею на русском языке вещи, не пропускаемые на открытую продажу в России, значит не получать почти никакого дохода от своей работы. Итак, эмигрировать значило бы для меня обрекать свое семейство на великие страдания от нужды. Надеюсь, кто знает меня, тот не усомнится, что мысль об этом не могла быть для меня слишком привлекательна.

Или не хотел ли я уехать по опасению ареста? Я слишком давно слишком много слышал от других опасения, что меня арестуют. Если бы я считал возможным, что сбудутся эти опасения, и если бы хотел избавиться от этой боязни эмиграциею, то, конечно, не стал бы ждать июля 1862, а уехал бы в сентябре 1861 года. Но кто знает меня, тот знает, что я смеялся над опасениями других, будто меня могут арестовать. Я подробнее говорю об этом в письме к его светлости спбургскому генерал-губернатору от 20 или 22 ноября и ссылаюсь на это письмо в дополнение настоящего моего показания.

Я не думал, я не предполагал нужды думать, я не имел возможности думать об эмиграции. Но если бы я мог и хотел эмигрировать, то Герцен менее всех литераторов целого света мог представляться мне товарищем в издании журнала. На это много причин.

В письме моем к его величеству я привел и в письме к его светлости г. спбургскому генерал-губернатору изложил подробнее две из причин, отчуждавших меня от Герцена. Я же одобрял некоторых планов Герцена, известных мне по слуху (о чем говорится в его письме, находившемся в моих бумагах), и имел личное неудовольствие на него по процессу г-жи Панаевой из-за векселей и имения покойной г-жи Огаревой. Ссылаюсь на эти письма (от 20 или 22 ноября прошлого года) в пополнение моего настоящего показания. В них я представлял только две причины, как почти не требовавшие поверки. Здесь приведу еще две, поверка которых незатруднительна.

Первая из них — моя чрезвычайно сильная привязанность к покойному Н. А. Добролюбову и дурные отзывы о нем Герцена, начинающиеся с весны

1859 года, когда в № 45 или 47 «Колокола» была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня, — но о себе я не говорю) статья Герцена «Very dangerous». Этих отзывов о Добролюбове я не мог извинить Герцену никогда, а тем более после смерти Добролюбова. Когда я потерял Добролюбова (в ноябре 1861), неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не позволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, если бы захотел. Укажу для примера на выражение мое о нем в одной из первых книжек «Современника» за 1862 г., в статье, которую начал я биографию Добролюбова. Это было напечатано мною около того времени, когда я, говорит обвинение, будто бы собирался вступить в товарищество с Герценом. Эта моя резкость наделала тогда довольно шума в нашей литературе; и вообще, в последнее время перед моим арестом литературный мир очень хорошо знал мою неприязнь к Герцену. На это есть печатные указания в русских периодических изданиях. Для примера укажу на «Сибургские ведомости» первой половины 1862 года.

Но кроме политических причин несогласия и кроме личной неприязни, существует еще одно обстоятельство, по которому я никак не мог думать о товариществе с Герценом. Я привык быть полным хозяином направления журнала, в котором участвую. Я могу уступить своему товарищу всю денежную часть, оставив на его волю помещение безразличных по своему содержанию повестей, — но направление журнала должно быть безусловно мое. С Герценом это было бы невозможно. Он не только стал бы спорить со мною о чужих статьях, но стал бы требовать, чтоб я поправлял по его замечаниям свои статьи. А я не только не мог бы допустить такого вмешательства, а сам потребовал бы от него безусловного подчинения себе, то есть вещи невозможной. Кто не знает, что непременно я хочу быть безусловным хозяином направления журнала, в редакции которого участвую, тот не знает меня. А при этом мысль о моем товариществе с Герценом — нелепость.

Натурально после этого, что я был до крайности удивлен, услышав на допросе 30 октября, что я обвиняюсь в сношениях с Герценом, и почел этот вопрос сделанным без всяких оснований. Но еще более был я изумлен, когда на первом из двух допросов, бывших в марте, сообщили мне, что существует письмо, выражающее согласие Герцена на то, чтоб издавать журнал со мною. Кем придуман такой невозможный для меня проект, я и не постигаю. Но если еще остается какое-нибудь подозрение в том, что я имел это намерение, то я прошу, чтобы Правительствующий сенат разрешил мне принять для исследования этого странного случая те меры, какие могут быть допущены по закону.

## 2. Объяснения по вопросу о мнимом шифре, найденном у меня

Эти картонные лоскутки исписаны буквами и цифрами почерка моего родственника, Алексея Осиповича Студенского, который теперь, вероятно, находится в Петербурге, и адрес которого, вероятно, известен моему двоюродному брату Александру Николаевичу Пыпину, живущему у Владимирской, в Свечном переулке, в доме Тулякова № 43 (А. Н. Пыпин).

Уезжая в Саратов, за несколько времени перед моим арестом, г. Студенский принес мне на сохранение зеленую папку со своими бумагами, и положил или на окно моей комнаты, или в нижний ящик стоявшего в ней шкапа с книгами, — не припомню в точности. Я, разумеется, и не дотрогивался до этой папки. Вероятно, в ней и нашлись эти картонные лоскутки. Что это за игрушка, вероятно, объяснит г. Студенский. А я делаю такое предположение, за удачность которого, впрочем, не ручаюсь:

Незадолго перед моим арестом, были совещания людей, занимающихся русскою грамматикою (кажется, в зале 2-й гимназии), об улучшении русской азбуки и орфографии. Г. Студенский был очень заинтересован этим предме-

том и занимался лексикографическим и этимологическим разложением русских слов на их составные части; — я думаю, не сделал ли он эти картонные лоскутки для пособия себе в таком занятии. А впрочем, не решаю, угадал ли я.

Я не обратил на них большого внимания, когда мне показывали их, думая, что сама комиссия почтет удобным оставить без внимания эту игрушку. Но если не обманывает меня память, лоскутки исписаны так: по краю лоскутка с начала строки идет ряд цифр, от 1 до 36 или 35, а подле цифр написаны буквы русской азбуки. Если б это был шифр, этот шифр принадлежал бы к такой системе: каждой букве соответствует одна цифра (от 1 буквы до 9-й) или 2 цифры (от 10 буквы до конца азбуки); знак каждой буквы (одну цифру, или две) надобно ставить отдельно от предыдущего и последующего знака, потому что иначе нельзя было бы различить, где брать две цифры за букву, где одну, и сам писавший не мог бы разобрать того, что написал, и никакой ключ не помог бы путанице. Поясню это примером. Пусть будет

а — 1  
б — 2  
л — 12;

тогда, если написать сплошь 1212, нельзя будет имеющему ключ шифра знать, как прочесть это: *абл* или *лаб*, или *абаб*, или *лл*. Потому необходимо писать врознь, — так:

1 2 12 — это будет *абл*  
12 1 2 — *лаб*  
12 12 — *лл*.

Но все шифры такой системы (для каждой буквы особый знак, и знак каждой буквы ставится особо от предыдущего и последующего) уже чересчур просты. Я никогда не занимался искусством дешифровки, но берусь в один вечер найти ключ к отрывку, писанному каким бы то ни было шифром этой системы. А кто занимался дешифровкой, вероятно, найдет ключ в полчаса. Если б я имел надобность или охоту придумывать или употреблять шифр, то надеюсь, у меня достало бы смысла понять, что шифр такой системы слишком плох, и достало бы ума придумать шифр получше.

Прибавлю: я не такой невежда, каким предполагает меня это обвинение. Из чтения гражданских и политических и неполитических уголовных иностранных процессов мне известно, что употребление какого бы то ни было шифра признано вещь устарелую, неудобную для тайных сношений и слишком опасною для сносящихся. И если б я хотел иметь с кем-нибудь тайные письменные сношения, то уж наверное не выбрал бы средством для них не только такой младенческой системы шифра, какую давали б эти лоскутки, когда бы служили для шифрования, но и никакой системы шифра.

### 3. Пояснения по показаниям г. Костомарова всем вообще

Я не юрист; потому прошу Правительствующий сенат быть снисходительным, если в этом отделе моего дополнительного показания беру предмет, который по обычаям нашей судебной практики должен быть предметом моих ответов не теперь, а в каком-либо последующем периоде моего процесса. Следственная комиссия не спрашивала меня, имею ли я причины отвода против г. Костомарова. Я не знаю, должен ли быть предложен мне этот вопрос; если нет, то вновь прошу снисходительности *Правительствующего сената* к той погрешности, что утруждаю сенат разбором вопроса, не подлежащего моему ответу. Наконец, что касается самой сущности предъявляемых мною оснований отвода, вновь прошу снисходительности *Правительствующего се-*

ната в том случае, если причины эти неудовлетворительны: я никак не хотел бы приводить законов, не подходящих к делу, но по недостатку специального юридического знания могу ошибаться.

Мне кажется, — не знаю, основательно ли, — что г. Костомаров подходит или под какой-либо, или под некоторые из следующих законов —

Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 216 п. 1—«Не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 1) лица, прикосновенные к делу».

Г. Костомаров есть лицо, прикосновенное к делу, если не сделал своих показаний против меня при самом начале следствия над ним; по статье (того же тома той же книги) 596:

«Всякого состояния люди обязаны доносить о делах, касающихся до преступлений государственных, означенных в статьях 275—280 и 282—287 Уложения о наказ., под опасением за недонесение наказаний, определенных за сие в статьях 277, 279, 281—286 и 288 того же Уложения», и статьи 17 Уложения о наказаниях:

«Прикосновенными к преступлению считаются и те, которые, зная о умышляемом или уже содеянном преступлении и имея возможность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности».

Если же г. Костомаров сделал свои показания против меня при самом начале следствия над ним, то я прежде допущения показаний г. Костомарова за обвинения, подлежащие судебному рассмотрению, в настоящее время должен просить *Правительствующий сенат* об исследовании вопроса: почему, при существовании таких показаний, я не был призван к суду или какому-либо ответу в последнюю половину 1861 года, когда производилось следствие над г. Костомаровым.

Или, быть может, г. Костомаров подходит под пункт 2-й той же 216 статьи XV тома 2 ч.:

«Не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 2) имевшие с ним (подсудимым) вражду»; — мне казалось бы, что он подходит под этот пункт на основании фактов, которые я излагаю ниже.

Если же г. Костомаров подходит под какой-либо из этих законов, то мне казалось бы, что нет нужды и входить в разбор его показаний, на основании

Св. зак., т. XV, кн. 2, ст. 334: «Показания свидетелей вовсе не имеют силы доказательства 1) когда они учинены без присяги».

Перехожу к пояснению моих отношений с г. Костомаровым.

Я был внимателен, — могу сказать: добр к нему. Не скрывается ли в этом нечто особенное? Да; скрывается, или, вернее сказать, обнаруживается, особенность моего характера, доходящая до такой крайности, которая служит предметом всеобщих насмешек в кругу моих знакомых, источником бесчисленных хлопот и неприятностей для меня: трудно найти человека, который не получил бы от меня всякой возможной услуги и помощи, кто бы ни был этот ищущий ее у меня, — знакомый или незнакомый, все равно. Как писатель, я известен крайнею жесткостью, — в частной жизни я страдаю противоположным недостатком.

Но кроме этой особенной, была другая, самая обыкновенная причина моей внимательности к г. Костомарову. Я был журналист. Всякий неглупый журналист знает, что должно быть внимательным к молодым, начинающим литераторам, потому что из них выходят свежие силы, а без внимательности к ним, журнал хилеет и падает. Поэтому я, для собственной выгоды, всегда был внимателен к начинающим литераторам, высматривая, не окажется ли кто из них хорошим работником. Люди, более меня зоркие, умеют скоро различать, годится или не годится молодой человек в сотрудники журнала. Мне нужно всматриваться долго. И я все еще только всматривался в г. Костомарова, не решаясь предложить ему работать в «Современнике», по-



ка получше не узнаю его способностей. (Быть может, не лишнее объяснить, что сотрудничество, постоянное участие в собственно журнальной работе, в так называемых текущих статьях вовсе не то, что напечатание стихов в журнале.)

В таких отношениях я был с десятками начинающих литераторов. Г. Костомаров был не исключение, а подходил под общее правило. Для г. Костомарова я делал даже гораздо меньше, чем для многих других.

Эта необходимость быть внимательным и оказывать возможные услуги еще вовсе [не] составляет интимности и не свидетельствует о доверии. Это просто то, что наниматель на работу высматривает хороших работников между людьми, ищущими работы. С г. Костомаровым я был менее короток, нежели бывал со многими из начинающих литераторов. Что действительно не был я с ним короток и почему не был, это будет видно из следующих пояснений.

Но я действительно был внимателен к нему. Например, он стал говорить, что хочет издать поэтическую хрестоматию; я отдал ему сборник подобного рода, валявшийся у меня уже несколько лет и ненужный мне. Он принял за большую услугу подарок этой вещи непригодной мне ни на что, и просил позволения написать в предисловии, что хрестоматия, которую он сделает на основании этого сборника (уже устаревшего и потому требовавшего большой переделки), составлена по моим советам. Когда он вздумал издать перевод «Истории литературы» Шерра, я на его просьбу помочь отвечал, что беру цензурные хлопоты и печатание на себя. То и другое не было для меня важною. Цензор был всегда готов по моей просьбе прочесть рукопись поскорее; типография Вульфа и бумажная лавка (бывшая) Заветного имели текущий счет и кредит с конторою «Современника». Но для г. Костомарова была важна услуга, которая не стоила мне ничего.

По возвращении моем (в сентябре 1861) из Саратова в Петербург, когда г. Костомаров был уже арестован, я перестал делать для него что-либо, и между прочим отказался печатать перевод Шерра. Кто хочет объяснить это только в невыгодную для меня сторону, легко найдет две причины перемены. Возвратившись из Саратова, я узнал, что мой двоюродный брат, г. А. Пыпин, взял на себя редакцию другого перевода той же книги Шерра; естественно предположить, что я не хотел мешать успеху издания, в котором работал мой родственник. Этим, кажется, достаточно объясняется отказ мой печатать перевод г. Костомарова. А вообще, у меня, как у журналиста, исчезла причина внимательности к г. Костомарову: даровитый он был человек, или нет, все равно, он надолго лишился способности быть полезным для журнала. Я не имею права требовать, чтобы мою перемену приписывали побуждениям более благородным.

Но от чего бы ни произошла перемена, г. Костомаров увидел, что ошибся в расчетах на мою помощь, и это очень раздражило его против меня. Я говорю о факте очень известном, утверждая, что он был очень раздражен против меня.

В то время, когда производилось дело г. Михайлова, носились слухи, что у г. Костомарова найдено воззвание к барским крестьянам, или два какие-то воззвания; что по судебному исследованию найден был автор этой рукописи или этих рукописей. Если какой-либо из этих слухов основателен, то мне нет надобности доказывать, что воззвание к барским крестьянам писано не мною. — На очной ставке со мною при втором из допросов, сделанных мне в марте, г. Костомаров упомянул, что это Воззвание (или эти два Воззвания) признано (или признаны) по суду за написанные им, г. Костомаровым. Но хотя эти слова его и совершенно в мою пользу, я не ссылаюсь на них, как на что-либо достоверное, потому что вообще в словах г. Костомарова слишком много неточностей: я только прошу о проверке этих его слов справокою с его делом.

Прибавлю: носились слухи, что г. Костомаров в продолжение своего процесса переменял свои показания и постепенно дошел в них до таких странностей, что Следственная комиссия, производившая его дело, перестала при-

нимать его показания к сведению. Этот слух также требует поверки справок с делом г. Костомарова.

Вообще справка с делами г. Костомарова и г. Михайлова должна объяснить много вопросов, решение которых, каково бы оно ни было, непременно устраняет обвинения против меня, извлекаемые из показаний г. Костомарова. Из этих вопросов в предыдущем изложении фактов уже являлись следующие: когда и как даны показания г. Костомарова (если давно, я уstraняю их как уже отвергнутые судом; если недавно, я уstraняю их, как показания лица, лишившегося способности быть свидетелем); переменил ли г. Костомаров свои показания или нет (если переменил, они теряют силу доказательств по взаимному противоречию; если не переменил, то, значит, они признаны за основательные судом, не призывавшим меня к ответу); открыт ли судом автор рукописи (или рукописей), найденных у г. Костомарова (если открыт, мне не в чем оправдываться; если нет, то одно из двух: г. Костомаров знает или не знает его; если знает, он неспособен быть свидетелем, как лицо, бывшее укрывателем; если не знает, его показания против меня неосновательны). Другие вопросы, требующие справки с делами г. Костомарова и г. Михайлова, будут представляться в последующем изложении фактов.

Сделав эти пояснения, относящиеся ко всем обвинениям против меня, извлекаемым из показаний г. Костомарова, перехожу к разбору каждого из этих обвинений в отдельности, повторяя, что по предыдущим объяснениям мне кажется, что я имею право отвергать их без всякого разбора, как незаслуживающие судебного рассмотрения, и прося снисходительности Правительствующего сената к моей ошибке, если, не будучи юристом, ошибаюсь в этом моем мнении.

#### 4. Пояснения по показанию г. Костомарова, будто бы я читал ему и г. Михайлову «Воззвание к барским крестьянам», как написанную мною вещь

Г. Костомаров (зимою 1860—61 года) однажды вечером приезжал ко мне с г. Михайловым. Когда меня спрашивали при следствии, где я видел г. Костомарова в первый раз, я не мог ручаться за то, что он когда-нибудь прежде этого не видел меня в лицо или не был в одних комнатах со мной. Человек, который по своим занятиям постоянно видит новые лица, — часто и не говорящие ему своей фамилии, из авторского самолюбия, чтобы не осталось у журналиста связанного с фамилиею воспоминания о какой-нибудь плохой отвергнутой им повести или статье, — такой человек не может ручаться за то, когда именно видел его кто-нибудь в первый раз. Приведу факт из своей жизни. Г. Краевский и г. Некрасов поступили бы очень опрометчиво, если бы сказали перед судом, когда виделись со мной в первый раз. Без сомнения, каждый из них очень хорошо помнит, когда я был у него в первый раз в 1853 году, с которого начались наши литературные отношения. Но я видел того и другого несравненно раньше. Г. Краевскому я отдал (лично, в тогдашней конторе «Отч. записок») перевод биографии г-жи Ментенон из фельетона *Journal des Débats*, в июле или августе 1846 года; и г. Краевский был так мил, что говорил со мною довольно долго и очень ласково; но перевод мой не годился для журнала. Он очень удивится, когда я напомним ему это обстоятельство. Точно так же удивится г. Некрасов, когда я скажу, что в конце 1847 года или в начале 1848 года, я видел его и сказал с ним несколько слов в тогдашней конторе «Современника», отдавая ему написанную мною тогда повесть (содержание которой были несчастья сироты-девушки, воспитывавшейся в институте, и потом попавшей в дурные руки), — повесть, которая тоже оказалась не заслуживающею печати. Конечно, я не напомнил ни тому, ни другому об этих свиданиях, когда начинал знакомство с ними через несколько лет, и был очень рад, что они совершенно забыли о них и встретили меня, как человека, никогда еще не виданного ями.

Но когда мне сказали, что г. Костомаров говорит, что не видел меня до своего приезда с г. Михайловым ко мне, то я полагаю, что это правда; по крайней мере, это согласно с моими собственными воспоминаниями. И когда теперь мне известно, что под первым свиданием моим с г. Костомаровым разумеется приезд г. Костомарова с г. Михайловым ко мне, то я могу объяснить, как это произошло.

В ту зиму (1860—1861 года) г. Михайлов бывал у меня довольно редко, почти всегда только по утрам, на короткое время, по делам «Современника», корректуры которого тогда читал он. Но он знал, что мои знакомые собираются у меня сидеть вечера по средам. И вот, в одну среду вечером, он приехал ко мне с молодым человеком в уланском мундире, и рекомендовал его мне, как г. Костомарова, литератора. Когда они приехали, у меня уже находилось, когда они уехали, у меня еще оставалось несколько человек гостей. Я встретил г. Михайлова и г. Костомарова в зале, где сидел с гостями, и новые два сели в кругу прежних. Через несколько времени г. Костомаров сказал мне, что хочет поговорить со мною наедине; это очень обыкновенная вещь у литераторов, журналисты привыкли слышать такие желания и исполнять их: литературные дела так близко касаются авторского самолюбия, что о них очень часто говорят наедине. Я ждал обыкновенного для журналистов объяснения о литературных намерениях, просьб о советах по каким-нибудь стихотворениям или повестям и пошел с г. Костомаровым, — одним им, — в мой кабинет. Г. Михайлов оставался в зале с другими гостями и не входил в кабинет. Все время нашего отсутствия он оставался безвыходно в зале. Через несколько времени, я и г. Костомаров возвратились в зал. Это факты, виденные моими гостями в ту среду.

Г. Михайлов привез ко мне г. Костомарова в такой вечер, в который у меня бывали гости. Из этого я вывожу, что, привозя ко мне г. Костомарова, он не имел никакой тайной цели. Для тайных разговоров не выбираются вечера, когда у хозяина собираются гости.

Мой разговор с г. Костомаровым в кабинете весь, с начала до конца, происходил наедине. Г. Костомаров очень неудачно ввел в свое показание обстоятельство, неточность которого я в состоянии доказать. Так как в этом обстоятельстве, — присутствии г. Михайлова, — не было ему надобности для его целей, то из этого я вывожу, что его воспоминания очень сбивчивы.

Итак, наш разговор с г. Костомаровым в моем кабинете происходил совершенно наедине, как очень часто происходит разговоры журналиста с литератором, — и без особенного случая я не мог бы доказать, что содержание этого разговора было вовсе не таково, как говорит г. Костомаров. Но, к счастью, через несколько дней после того произошел следующий случай. У г. Некрасова был обед. Я и г. Михайлов находился в числе гостей. За обедом г. Михайлов обратился ко мне с укоризнами в том, что я охлаждаю молодых людей и что я возбудил этим неудовольствие г. Костомарова, который говорил ему (г. Михайлову), что разговор его (г. Костомарова) со мною в кабинете показал ему (г. Костомарову) во мне апатического человека, желающего, чтоб и все другие были, подобно мне (т. е. мне, Чернышевскому), апатичными гражданами, не думающими об общей пользе, заботящимися только о своих семейных делах. Г. Михайлов осыпал меня этими укоризнами почти с самого начала до самого конца обеда, довольно продолжительного. Он сидел довольно далеко от меня (я сидел на одной из узких сторон стола, г. Михайлов — близко к другой узкой стороне стола), так что он говорил со мною через весь стол, говорил громко и с жаром, заглушая разговоры между собою других обедавших, которые скоро почти все или все перестали говорить между собою, слушая наш разговор, состоявший из длинных горячих нападения Михайлова на меня и моих коротких холодных или шуточных ответов.

Это последствие моего разговора с г. Костомаровым показывает, что этот происходивший между мною и им наедине разговор имел с моей стороны направление и содержание прямо противоположные тому, что утверждает г. Костомаров.

Мне кажется, что я могу теперь ожидать веры в следующее мое показание о действительном содержании этого разговора. Вот оно. Г. Костомаров, начав речь с сборника переводных стихотворений, который он издавал тогда, перешел к обыкновенным жалобам литераторов на цензуру, а от них начал было переходить к тому, что вообще дела у нас в России идут плохо, — но на этом совершенно еще неопределенном периоде его слов я остановил его шутивным вопросом, велико ли у него состояние, когда он служит репетитором в одном из московских кадетских корпусов, — я привык находить, сказал я, что между преподавателями кадетских корпусов нет людей очень богатых (о том, где он служит, я спрашивал у него прежде, когда мы сидели в зале). — «Никакого состояния, кроме маленького, разваливающегося домика у моей матушки». — Ах, у вас есть матушка? — спросил я иронически. — «И сестры», — отвечал он. — Вот как, у вас есть матушка и сестры, — сказал я с еще более горькой иронией, — и, вероятно, живут доходами с этого разваливающегося домика? — «Нет, какой же с него доход» — отвечал он уныло — «я содержу их своею работою и жалованьем». — А когда так, — сказал я серьезным тоном, — то вам следует думать не о том, хорошо или дурно идут дела в России, а о вашем семействе, которое дел в России, держа ваши труды, — сказав несколько слов на эту обыкновенную тему обыкновенным тоном людей, успевших поостыть и читающих, по всякому малейшему поводу, нотации молодым людям о семейных обязанностях и рассудительности, — я встал, и мы возвратились в зал.

Я перервал г. Костомарова так рано, что он не только не успел дойти до каких бы то ни было намеков о каких-нибудь тайных своих делах, но и не успел сказать ровно ничего особенного, — немногие слова, которые успел сказать он о плохом, по его тогдашнему мнению, ходе дел в России, были так неопределенны и бледны, что показались мне не больше, как попытку того, что называется «полиберальничать», — обыкновенною замашкою очень многих, скучною для меня.

В горячих укоризнах, деланных мне г. Михайловым за обедом у г. Некрасова, также не было ничего такого, что могло бы возбудить во мне предположение о каких-нибудь тайных делах или намерениях г. Михайлова или г. Костомарова. Это само собою следует уже из того, что он говорил при нескольких лицах, открыто, громко. Я знал г. Михайлова за человека пылкого, но очень мало занимающегося политическими вопросами, — да и разгорячился тогда он вовсе не по какому-нибудь политическому вопросу, а из-за того, что я назвал бездарным стихоплетом г. А. Майкова (известного поэта), — г. Михайлов вспыхнул, начал говорить, что у меня нет эстетического чувства, что я унижаю искусство, отвергаю поэзию, отвергаю все высокое и благородное, что мой взгляд — холодит, леденит все благородные порывы, — вот каким рядом мыслей дошел он до того, что я охолодил и тем рассердил г. Костомарова, — и поэтому слова г. Михайлова в своей неопределенности не имели никакого политического смысла.

Но если не было ничего замечательного в содержании слов г. Михайлова, то все-таки ведь они говорились в укоризну мне, — это была сцена, неприятная для меня: полчаса слушать брань на себя, — хоть и от доброго знакомого, — это такой случай, на который не стоит сердиться, но который невольно запоминается, с обстоятельствами, к которым он относится. Вот причина, по которой врезались в моей памяти черты моего разговора с г. Костомаровым.

Но сам по себе этот разговор не был важен; да и весь вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михайловым, тоже не был важен; вот объяснение тому, что у г. Костомарова осталось слишком слабое воспоминание об этом вечере и этом разговоре, так что, делая показание, он не мог сообразить, что вводит в него такую черту, неточность которой я могу доказать, — то есть мнимое присутствие г. Михайлова при нашем разговоре.

У меня никогда не было никакого разговора втроем с г. Костомаровым и г. Михайловым без других свидетелей. Я видел г. Михайлова и г. Косто-

марова вместе только один раз, и в этот раз г. Михайлов не выходил из моего зала, где сидел с другими моими гостями.

Г. Костомаров ввел в свое показание другое обстоятельство, которого не вздумал бы утверждать при близком знакомстве с моими привычками. Он говорит, будто я читал ему и г. Михайлову вещь, написанную мною. Всякий близко знающий [меня] знает, что это — нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцование балетных танцев и собиранье милостыни под окнами. Автор только по одному из двух следующих побуждений читает кому-нибудь что-нибудь написанное им: или из авторской любви к написанному, когда дорожит тем, что написал; или по авторской скромности, чтобы просить замечаний, советов. Но всем моим хорошим знакомым известно, что в моих глазах не имеет никакой важности ничто из того, что я пишу. Быть может, когда-нибудь я напишу что-нибудь, чем буду дорожить; но это будет не политический памфлет, а большое философское сочинение. А все, что я писал до сих пор, я считаю ничтожным для себя. Я, как литератор, чрезвычайно горд, но именно по чрезмерной гордости чужд авторского тщеславия. Мне противно даже слушать, когда говорят о чем-нибудь, написанном мною, — с похвалою ли говорят, или с порицанием, или тоном безразличным, все равно, — я немедленно поворачиваю разговор на другой предмет. При такой чрезвычайной гордости, естественно, что я не могу читать и для того, чтобы спрашивать советов или замечаний у кого бы то ни было. Это было бы унижительно для меня. Я имею гордость думать, что как писатель не нуждаюсь ни в чьих мнениях и советах, и сам лучше всех знаю достоинства или недостатки того, что пишу. Я никогда ни у кого не спрашивал мнения или совета ни о чем, что писал или пишу.

То, что г. Костомаров мог взвести в свое показание такое невероятное обстоятельство, будто бы я читал что бы то ни было написанное мною, объясняется только тем, что он не был никогда близок ко мне и потому не знает моих обычаев.

Прибавлю: по словам самого г. Костомарова, я видел тогда его в первый раз. Правдоподобно ли, чтоб я стал выдавать себя за государственного преступника, чтоб отдал свою голову во власть человека, которого видел в первый раз? Я дорожу своею головою больше, чем предполагал г. Костомаров, делая такое показание.

##### 5. Пояснения на показание г. Костомарова о посещениях, сделанных ему мною в бытность мою в Москве весною 1861 года, и о записке, будто бы оставленной мною ему в это время

Г. Костомаров говорит, что в один из дней, которые провел я в Москве весною 1861 года, когда он возвратился домой, ему отдал записку, со словами, что она оставлена ему мною, не заставши его дома. — В дополнение к этому найдено, что г. Яковлев показывает, будто бы я, не заставши дома г. Костомарова, написал ему (г. Костомарову) записку, и, как кажется г. Яковлеву, написал ее на лоскуте бумаги, уже исписанном с другой стороны. — О способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем, я буду говорить ниже, по поводу его показания о моем посещении г. Костомарова в августе 1861 года. Здесь же я разбираю не качества показывающих лиц, а только существо самого дела.

Мне показывали записку на лоскуте бумаги, другая сторона которого исписана чем-то. Я сделал на ней надпись, что не признаю почерка этой записки своим, что он ровнее и красивее моего.

В пояснение этого, обращаю внимание на две из тех особенностей, которыми ровные и красивые почерки отличаются от неровных и некрасивых. Строка состоит из трех частей: 1, росчерки, выдающиеся вверх; 2, росчерки, выдающиеся вниз; 3, средняя основная полоса строки. Пример — в этом

слове «примѣр» буквы *р* имеют росчерки вниз, буква *ѣ* — росчерк вверх, буквы *и*, *м* не должны выдаваться ни вверх, ни вниз из основной средней полосы строки. В ровном почерке линии, проведенные по верхним и нижним оконечностям букв и частей букв, не выходящих из основной средней полосы, должны быть прямые параллельные линии: в неровном они — ломаные линии, то сходящиеся, то расходящиеся. Пример: слово — *наша*, тут все части всех букв должны оставаться в основной средней полосе строки; в ровном почерке верхние и нижние части этого слова представляются в таких линиях, в неровном в таких.

Прямые части букв, занимающие эту среднюю основную полосу строки, в ровном почерке все имеют одинаковое наклонение к горизонтальной оси строки, а согнутые части — части эллипсисов, имеющих один размер, то есть одинаковую степень собственной искривленности, или целые ровные эллипсисы; эти части эллипсисов и эллипсисы все имеют центр на одной прямой и горизонтальной линии, то есть одинаковое наклонение к оси строки. В неровном почерке ни одна из этих одинаковостей не соблюдается. Пример: *теплога*. Здесь в ровном почерке первые линии букв *т* и *п* одинаковы и одинаково наклонены; последние линии букв *т*, *п*, *л*, *т*, *а*, также, большая округлость буквы *е*, буква *о* и первая половина буквы *а* — также. В неровном почерке этого не будет. Словом, ровный почерк в этом отношении представляется линиями... а неровный линиями...

Прошу сравнить мой почерк с почерком записки, напрасно мне приписываемой, в этих двух отношениях.

Мой почерк гораздо хуже почерка записки в обоих этих отношениях. Можно нарочно написать худшим, но нельзя нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать. В ломаном почерке не могут уменьшиться недостатки подлинного почерка.

Если же, чтобы уменьшить эти недостатки подлинного почерка для замаскирования руки в ломаном почерке будут употреблены особенные средства: проведение линеек, очень медленное черчение (вырисовывание) букв вместо обыкновенного довольно быстрого и свободного движения руки, то эти искусственные средства оставляют очень яркие следы на написанном. В комиссии я слышал замечание: «вы могли вырисовывать буквы». Поэтому укажу средство распознать вырисованные буквы от писанных свободным движением. Это средство — сильная лупа, или микроскоп, увеличивающий в 10 или 20 раз. Вырисованные буквы явятся с резкими обрывами по толстоте линий, в буквах естественного почерка перелом толстого в тонкое и тонкого в толстое гораздо постепеннее. Пример. Дана буква *а*. — спрашивается, вырисована она или написана свободно и довольно быстро? В первом случае она под микроскопом явится в таком виде (рис. 1) (части, перечерченные поперечными линиями, представляют собою сплошную массу). Таков будет вид рисованной буквы: вид буквы, написанной свободно, будет (рис. 2). То есть, при вырисовывании букв, край черты имеет тенденцию становиться ломаною линиею, между тем, как в обыкновенном почерке он имеет тенденцию быть кривою или прямою линиею.

Я не изучал специально правил распознавания почерков; потому привожу лишь отрывочные сведения, какие мне случилось приобрести из чтения иностранных гражданских процессов. В случае недостаточности этих сообщенных мною приемов распознавания почерков, прошу Правительствующий сенат разрешить мне прибегнуть к тем из даваемых для этого наукою средств, какие могут быть допущены по закону.

Осмелюсь сказать следующее: я бы никак не подумал делать указания на приемы, употребляемые для распознавания почерков, если бы не был и не оставался в недоумении о том, каким образом было возможно приписывать писанную не моим почерком записку мне, имеющему почерк, дикая своеобразие которого режет глаза. Мой почерк так дик, что когда, бывало, в школе товарищи дурачатся, по школьническому обыкновению подделываясь под почерки друг друга и учителей, я бесился от решительных неудач написать что-нибудь похожее на обыкновенные почерки.

Относительно общеизвестного приема распознавания почерков, состоящего в сличении фигуры отдельных букв, прошу обратить внимание, между прочим, на следующие буквы и группы букв:

е, с, г выходят в моем почерке очень часто похожи друг на друга;

группа ес выходит подобно букве и (иногда бывает трудно разобрать в моем почерке если от или);

форма буквы з в моем почерке;

постоянная уродливость буквы и (первая черта обыкновенно бывает слишком велика перед второю, расстояние между ними сверху очень часто бывает слишком мало сравнительно с нижнею частью);

почерк очень часто перерывается, гораздо чаще, чем в обыкновенных почерках; эти обрывы бывают между прочим на буквах и, л, м, после которых не обрывается обыкновенный почерк.

В настоящем показании особенности моей руки являются менее ярко, чем в вещах, написанных стальным пером или карандашом, — притом же, я пишу это показание крупно и тщательно. Для сличения удобнее могут служить вещи, писанные карандашом, подобно присваиваемой мне записки; таких вещей много между моими бумагами.

Сделав эти пояснения, я утверждаю, что почерк приписываемой мне записки: 1) не имеет сходства с моим почерком и относится к почеркам совершенно другого характера;

2) что он не есть ни ломаный почерк, ни вырисованный почерк, то есть, что неизвестное лицо, писавшее эту записку, писало ее свободным и быстрым движением руки;

3) что я, как бы ни старался, не мог бы написать так ровно.

Кончив эти пояснения о почерке записки, перехожу к другим сторонам вопроса о ней.

Писать и оставлять записку, которая, если бы была действительно моя, служила бы прямою уликою, — это такая глупость, которая решительно несогласна ни с моею известностью; как человека не глупого, ни с моим мнительным характером. Если б я был такой преступник, каким выставлен в показаниях г. Костомарова, и с тем вместе такой опрометчивый глупец, каким следовало бы назвать меня, если б я написал эту записку, то, конечно, против меня были бы сотни улик более солидных, чем эта записка и вообще те обвинения, которые я опровергаю теперь.

Я был в Москве весною 1861 года, и заходил тогда к г. Костомарову — то и другое обстоятельство я обращаю в доказательство тому, что я не находилса ни в каких преступных сношениях с ним и не предполагал, чтобы он был замешан в каком-нибудь деле тайного печатания. Недели за две перед мою поездкою было отправлено в Москву лицо, служившее по политической полиции, отправлено с поручением разыскать тайное, литографированье и печатание, производившееся тогда в Москве. Я знал это по слуху, который был тогда известен всему Петербургу, и по такому же слуху я знал, что это лицо еще остается в Москве в то время, когда я поехал туда. Мне, как и всему литературному кругу, было известно, что политическая полиция давно имеет надзор за мною. Сверх того, я должен был думать, что само дело, по которому ехал я в Москву, обратит на себя внимание политической полиции (ниже я объясню это дело), и что поэтому надзор за мною в Москве будет особенно бдителен. Если бы я действительно был прикосновен к делу тогдашнего московского тайного печатания, то у меня, по всей вероятности, достало бы осторожности, чтобы не ездить в Москву в такое опасное (в случае моей прикосновенности) время. Ехать для предупреждения моих соучастников (в случае моей прикосновенности) было уже поздно; если б у меня была эта мысль, я поехал бы двумя неделями раньше. Ехать в то время, когда поехал я, значило бы (в случае моей прикосновенности) уже только понапрасну лезть в петлю. И, без всякого сомнения, у меня достало бы благоразумия не бывать в доме г. Костомарова, если б я предполагал, что он занимается тайным печатанием, которое разыскивается политической полициею, имеющею надзор за мною. Если б я был его соучастником или знал о его участии

в тайном печатании, то я конечно сообразил бы, что своими посещениями выдаю его и себя.

То, что я посещал г. Костомарова в бытность мою в Москве весною 1861 года, приобретает характер нравственной возможности только при принятии за истину того, что я не был с ним в тайных сношениях и не знал о его участии в тайном печатании.

Прибавлю: когда я познакомился с г. Костомаровым и стал оказывать участие к нему, то оказалось, что некоторые из моих знакомых знают его ближе, чем г. Михайлов. От них я услышал, что он человек, во-первых, не умеющий молчать; во-вторых, расположенный выдавать свои мечты за факты. Когда я был у него в Москве в первый раз, я уж имел эти сведения о нем. Конечно, их было бы достаточно для меня, чтобы прекратить всякие сношения с ним, если б эти сношения имели сколько-нибудь тайный или рискованный характер. Но так как я имел с ним дело только как с молодым начинающим литератором, то для меня было все равно, скромен он или не скромн, прикрашивает или не прикрашивает факты, — при совершенной невинности и нескретности моих отношений к нему мне нечего было опасаться ни от нескромности, ни от наклонности прикрашивать факты.

Дело, по которому я ездил тогда в Москву, было следующее. Несколько петербургских литераторов, собравшихся в квартире г. Вернадского, выслушали и с некоторыми изменениями одобрили основные черты новых правил цензуры, написанные г. Вернадским, и положили подать об этом просьбу г. министру народного просвещения. Надобно было кому-нибудь отправиться в Москву для предложения участия в этом деле московским литераторам. Г. Вернадский вызывался ехать, — но не раньше, как недели через две или три. А в тот самый день, как было это собрание, «Современник» получил сильную цензурную неприятность, которая усилила мое нетерпение хлопотать о цензурных улучшениях, и потому я сказал: «что откладывать в долгий ящик; если присутствующие согласны поручить это мне, я поеду завтра или послезавтра». Они согласились, и я действительно поехал через полторы сутки. По приезде в Москву тотчас же поехал к г. Каткову, важнейшему тогда из московских журналистов; он собрал у себя других; я был на этом собрании, — проект г. Вернадского был принят с некоторыми изменениями, г. Каткову было поручено написать записку и подробные правила; я почел свое поручение исполненным и уехал в Петербург.

#### 6. Пояснения на показание г. Костомарова, будто я диктовал ему воззвание к раскольникам

Г. Костомаров утверждает, будто бы я диктовал ему в Знаменской гостинице воззвание к раскольникам. Он не вздумал бы говорить о Знаменской гостинице, если б был ближе знаком со мною. Нет на свете человека, менее меня расположенного к посещению гостиниц, ресторанов и всего тому подобного. Г. Костомаров напрасно основался на слухе, будто бы я кутила. Нет, я не охотник кутить.

Когда я сказал это на первом из мартовских допросов, то у г. Костомарова, явившегося при втором мартовском допросе на очную ставку, было готово объяснение такому обстоятельству, как мой обед с ним в Знаменской гостинице. Он сказал: «Вы повели меня в гостиницу потому, что ваш (т. е. мой, Чернышевского) кабинет был неудобен для диктования». Но эти слова г. Костомарова показывают только, что он забыл положение моего кабинета в тогдашней моей квартире (на Васильевском острове, во 2 линии, в доме Громова). Нельзя было бы желать комнаты, более удобной для тайной диктовки. Эта комната отделена от других коридором.

Но эта комната имела менее хорошие обои, менее красивую печь, менее красивые полы, чем другие комнаты той квартиры; вероятно, г. Костомаров слышал какие-нибудь порицания моей комнаты по сравнению с другими в этих отношениях, — перезабыл, спутал, — подумал, что она неудобна для нужной ему тайной диктовки, и поэтому выстроил своею мечтою Знаменскую



гостиницу. Напрасно. Очень удобно было бы поместить тайную диктовку в мой кабинет. Тогда одним неправдоподобием было бы меньше.

Но если бы мой кабинет и действительно был неудобен для тайной диктовки, — то ведь я очень хорошо знаю, что гостиницы еще гораздо неудобнее для таких занятий. Уж лучше было бы нам с г. Костомаровым отправиться для диктовки к г. Михайлову, если мои отношения с г. Михайловым и с г. Костомаровым были таковы, как говорит г. Костомаров. Или и у г. Михайлова не было удобной для того комнаты?

## 7. Пояснения о способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем

На допросах в марте и на первой очной ставке моей с г. Костомаровым еще не представлялось ничего преступного в посещении, которое сделал я г. Костомарову в августе 1861. Но на апрельском допросе был выведен на очную ставку со мною г. Яковлев и сказал, что слышал, как я просил в это время г. Костомарова печатать воззвание к барским крестьянам. Г. Костомаров только уже подтвердил это.

В начале очной ставки г. Яковлева спросили, узнает ли он меня; но меня не спросили, не имею ли я причины отвода против г. Яковлева. Но когда по окончании очной ставки он вышел, я сказал: «Предостерегаю комиссию против этого свидетеля». Если остается хотя малейшая тень подозрения на мне от его показания, я прошу у Правительствующего сената разрешения пояснить эти мои слова.

Теперь скажу только следующее. Я не знаю, в качестве ли свидетеля, или только оговаривающего соучастника является г. Яковлев. Если в качестве свидетеля, то (прося у Правительствующего сената снисхождения к моей ошибке, когда такое мнение мое ошибочно) я полагаю, что он не имеет способности быть свидетелем. Если он сделал свои показания в недавнее время, то он был укрывателем, и, следовательно, есть лицо прикосновенное к делу. Если же он не был укрывателем, то есть немедленно сообщил правительству о преступном разговоре, который будто бы слышал, в августе 1861, то, так как я не был тогда ни арестован, ни призван к ответу, из этого следует, что его показания против меня были во время процесса г. Костомарова найдены неосновательными, и что я не имею нужды разбирать их. Но от этой формальной стороны обращаюсь к существу дела.

## 8. Пояснения по показаниям гг. Костомарова и Яковлева о посещении мною г. Костомарова в августе 1861 года

Показания представляют меня гуляющим по саду. Я не гуляю и не прохаживаюсь. Исключение бывает лишь когда я бываю принужден к тому желанием лица, пред которым обязан держать себя слишком почтительно, по его официальному званию. Я терпеть не могу ходить по комнате или по саду. — Это было очень ясно видно во время моего ареста. Сначала я думал, что тяжесть в голове, которую я чувствовал в первый месяц ареста, происходит от геморроя, и принуждал себя ходить по комнате для моциону. Но как только я заметил, что это боль не геморроидальная, а ревматическая, происходящая от того, что я лежал головою к окну, я стал ложиться головою в противоположную сторону от окна, и с того же дня перестал ходить, — абсолютно перестал ходить по комнате. Когда меня пригласили выходить в сад, я сначала выходил, воображая, что в это время обыскивается комната и что я возбудил бы подозрения отказом удалиться из нее; но месяца через три я убедился, что обысков не делают, подозревать не станут, — и как только убедился в этом, стал отказываться выходить в сад. Так я абсолютно не сделал ни одного шага для прогулки по комнате до сих пор с начала сентября, — не выходил в сад с октября. Исключением были несколько дней в

конце апреля, когда я принуждал себя к тому и другому по гигиенической надобности; она прошла — и вот уж больше месяца я опять бываю исключительно только в двух положениях: сижу и лежу.

Неужели я с осени предвидел, что это понадобится для возражения г. Яковлеву? — Но не предвидел же я этого за двадцать лет назад. А я по крайней мере 20 лет абсолютно не гуляю. Прогуливаться — мне скучно и противно. Это известно моим знакомым. С кем из них когда я ходил по комнате или по саду? — Ни с кем, никогда.

Я все время, когда был у Костомарова в августе 1861, просидел с ним в беседке.

Г. Яковлев говорил на очной ставке: «Г. Костомаров не повел вас (меня, Чернышевского) в беседку потому, что там был я» (т. е. г. Яковлев). Кто знает меня, знает, что если бы г. Костомаров сказал: «в беседку итти нельзя», — то я тотчас бы уселся на скамью, — если бы скамьи не было, я пошел бы с г. Костомаровым сидеть в комнатах; если б нельзя было сидеть в комнатах, я все время простоял бы, прислонившись к стене или дереву, или лег бы на землю, но гулять не стал никак и ни за что.

Г. Яковлев ввел в свое показание (а г. Костомаров подтвердил) мое невозможное гулянье по саду только потому, что оба они не знали моих особенностей.

Итак, г. Яковлев, говоря, что я и г. Костомаров не входили в беседку потому, что он был в ней, этим самым признает, что я и он, г. Яковлев, не могли быть вместе в беседке. Я утверждаю, что в беседке был я.

Чем доказать, что я был в беседке? Я описал г. Костомарову (на очной ставке) расположение мебели в ней. Положим, я мог говорить наудачу и отгадать. (Хотя г. Костомаров после этого моего описания сказал: «Быть может, мы с вами и входили в беседку, но все-таки гуляли и по саду»). Но вот чего уж никак нельзя было отгадать, не видевши: на столе в беседке стоял мой портрет, в величину обыкновенного, фотографического, — но не фотографического, а рисованный. «Как это вы нарисовали?» — спросил я. — На память, — отвечал он. Кажется, ясно теперь, что в беседке был я.

Следовательно, неосновательны слова г. Яковлева, будто бы он, сидя в беседке, слышал отрывки разговора между мной и г. Костомаровым, гулявшими по саду. И, следовательно, напрасно подтверждал эти слова г. Костомаров.

Но в беседке или саду, сидя или прогуливаясь, будучи или не будучи слышим г. Яковлевым, говорил ли я в августе 1861, чтобы г. Костомаров напечатал «Воззвание к барским крестьянам»?

Решить это поможет решение вопроса: когда было написано «Воззвание к барским крестьянам»? До высочайшего манифеста? Или по его обнародовании, но до Безднинского дела (о котором, конечно, не мог бы не упомянуть автор)? Или после того, но до получения известий, что крестьяне повсюду неохотно принимают уставные грамоты (до этого и после этого должно быть совершенно разное содержание)? Вопрос о времени, когда написано воззвание, вероятно, бесспорно решается его содержанием.

По словам г. Костомарова, оно было написано до весны. В словах г. Костомарова столько неточностей, что ни на одно из них невозможно опереться. Но если «Воззвание» действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе. Когда я сказал это г. Костомарову (на очной ставке), он даже не понял моих слов (значит, мы с ним не говорили о «Воззвании» ни в августе, ни когда прежде, иначе, он понял бы меня на очной ставке). «Конечно, вы говорили тогда, что весной оно имело бы больше действия», — сказал он. Не в том дело, наплыв новых фактов с весны до августа был так велик, что все содержание писанного до весны должно было никуда не годиться. Видя, что он не понимает этого, я сказал: «Мы с вами литераторы, мы должны понимать, что писанное в феврале никуда не годится по своему содержанию в августе». — «Но набор был цел», отвечал он мне на это. — Это требует справки с делом г. Костомарова. Если я был его соучастником, то я знал, что делается у него. Был ли цел набор, был ли цел станок у него

17 или 18 августа, когда я проезжал через Москву? — Если нет, то он, когда бы я был его соучастником, мог бы рассказывать мне об уничтожении станка и набора, если это не было сообщено мне прежде. Но уж никак в этом случае не оставалось места моей мнимой просьбе о печатании.

Если же станок и набор были целы, является другое соображение. Когда я выехал из Петербурга, весь Петербург уже знал, что в Москве арестованы некоторые лица, обвиняемые в тайном печатании. И, без сомнения, я стал бы просить г. Костомарова не о печатании, а об уничтожении всяких следов печатания. А вернее всего, что я не показал бы носа к г. Костомарову.

Я мог быть у него только потому, что знал себя и считал его нисколько не прикосновенным к делу тайного печатания.

Но все-таки, зачем я был у г. Костомарова в августе? Когда я прожил весною несколько дней в Москве, я от нечего делать навещал и знакомых, и полузнакомых, и почти нез знакомых (например, г. Маслов, управляющий московскою удельною конторою, скорее почти нез знакомый, чем полузнакомый мой, особенно тогда; после мы встречались раза три в обществе, когда он приезжал в Петербург). Но в августе я приехал в Москву с петербургским поездом, выехал из нее в тот же день с владимирским, — не показывает ли короткости, что я поскакал на свиданье с г. Костомаровым? Дело в том, что я поехал вовсе не к нему. Переехав с петербургской станции на владимирскую и взяв билет, я написал письмо к жене. Мне сказали: с этой станции оно не попадет на нынешний петербургский поезд, — отправляйтесь в отделение почтамта. Я повез письмо. Отдав письмо, я подумал: если уж попал в город, то заеду к Плещееву. Поехал, — но вспомнил, что его нет в Москве, сказал извозчику «стой» и начал думать, куда бы поехать. — При моем отъезде из Петербурга Добролюбов дал мне адрес г. Головачева, сказав, что быть может г. Головачев годится в сотрудники «Современника». Я поехал по этому адресу: собственный дом, на каком-то бульваре. «Дома г. Головачев?» — Нет, — отвечала служанка. Выходя из калитки, я взглянул — перед глазами Екатерининский институт. «А, да это рядом с Костомаровым, — зайду к нему покурить», — и зашел. Но зашел только покурить. Г. Костомаров, на очной ставке, сказав сначала, что я пробыл у него долго, согласился потом, что я торопился ехать, говоря: «опоздаю на поезд», — точно, я говорил это: ведь неловко же сказать: мне скучно сидеть с вами, я зашел только выкурить папиросу, — потому что боюсь курить на улицах. — На самом деле, я не мог опасаться опоздать, — я приехал на станцию очень задолго до первого звонка — вероятно, слишком за час, — это можно поверить. При мне происходила сцена между военным и мужчиною высокого роста, сухоощавым, в русском костюме, — это было очень задолго до первого звонка. Полиция должна знать это. Итак, я предпочел курение у г. Костомарова некурению, одинокое курение на станции курению в разговоре с г. Костомаровым, — вот пределы, показывающие степень нашей интимности.

Повторяю: быть внимательным и оказывать услуги — выгода журналиста и качество моего характера; но от этого еще очень далеко не только до тайных отношений, но и до хорошего знакомства; не только до хорошего знакомства, но и до того, чтоб не предпочитать сиденье на станции сиденью с ним.

#### 9. Общее заключение пояснений по всем обвинениям, выводимым из показаний гг. Костомарова и Яковлева

Если остается на мне хотя малейшая тень подозрения по этим обвинениям, то я прошу Правительствующий сенат разрешить мне употребление средств для получения более полных опровержений. Средствами к тому я нахожу: то, чтобы мне дано было пересмотреть дела г. Михайлова и г. Костомарова, — в них должно быть много вещей, разрушающих настоящие показания гг. Костомарова и Яковлева; то, чтобы мне дано было рассмотреть «Воззвание к барским крестьянам», — так как оно не писано мною, то я ожидаю найти в самом его содержании приметы того, что оно не писано мною;

позволить мне внимательно рассмотреть записку, отвергаемую мною. Упомянув особенные средства к раскрытию истины, я, конечно, не отважусь считать нужным для меня перечислять общие средства к тому, полезные для всякого подсудимого: мои судьи сами, лучше, нежели мог бы сделать я, откроют все те способы к защите, какие могут быть доставлены мне из этих общих средств.

10. Пояснения по некоторым из вопросов, порождаемых предыдущим изложением или изустною частью допросов, деланных мне во время следствия

Я ссылаюсь на мои письма к его величеству и к его светлости г. спбургскому генерал-губернатору в пополнение моего настоящего показания. Но в них есть одно утверждение, которого я не могу повторить теперь. Я в них говорю, что против меня нет обвинений, — теперь против меня выставлено много обвинений. Как мог я говорить тогда, что против меня нет и не может быть обвинений, и что я должен сказать теперь вместо этого?

Чтобы отвечать на это, прежде всего нужно знать: когда явилось в следствии, производившемся надо мною, каждое из показаний или обстоятельств, служащих материалами для обвинений. При допросе 30 октября мне не было сказано, что есть письмо, говорящее о согласии Герцена издавать со мною журнал, — находилось ли тогда это письмо в руках комиссии? — Мне не было сказано о картонных лоскутках, — имела ли тогда комиссия в виду эти лоскутки и считала ли их достойными того, чтобы спрашивать о них, не шифр ли они? — и так далее, по каждому обвинению. Как из положительного, так и из отрицательного ответа на каждый из этих вопросов является новый вопрос. Из положительного ответа, является вопрос: если это обвинение существовало, почему не спрашивали о нем? Из отрицательного ответа является вопрос: почему ж этого обвинения не было тогда в руках комиссии, или почему она прежде не находила, а потом нашла его достойным быть предметом допроса?

Вот факты: я был арестован 7 июля. Первый допрос мне был сделан 30 октября. Но это допрос — говорю не в порицательном, а в юридическом смысле слова, не заключающем в себе ничего предосудительного — чисто только формальный, — он совершенно удовлетворительно исполнял юридическую форму, необходимость и почтенность которой я вполне понимаю и ценю: отобрать у подсудимого показания о имени, звании, летах и проч.; я знаю, что эта форма служит для ограждения подсудимого, и уже одна сама иногда открывает его невинность. Но существа дела этот допрос не представлял. Существо дела явилось только на первом мартовском допросе, более чем через восемь месяцев после моего ареста.

Эти факты многозначительны; — я еще не имею права говорить, в какую сторону они многозначительны; это право даст мне или отнимет у меня приговор моих судей; — но они в том, и другом случае многозначительны.

Когда я был призван в комиссию 1 или 2 ноября (не для допроса, а для формальной замены некоторых моих выражений другими, — замены, почтенность которой я вполне понимаю), один из членов комиссии, — я теперь знаю его имя, он сказал мне его 28 апреля, это г. Огарев, — я сказал ему в глаза, что считаю человеком честным и хорошим, и, конечно, не скажу за глаза меньше, — скорее я говорю в подобных случаях больше за глаза, чем в глаза, — но не потому я составил себе очень выгодное мнение о его честности, чтоб он защищал меня на допросах, — напротив, он живет всех налегал на то, чтоб я признал записку за мою, а лоскутки — за шифр, но я могу понимать и всегда ценю, когда человек честно высказывает свое мнение, — все равно, ошибочно ли или справедливо само это мнение на мой взгляд, в мою ли пользу оно, или против меня, — я в том и другом случае одинаково признаю его честность и уважаю за него человека, — итак, г. Огарев 2 ноября сказал мне, что за несколько времени перед моим арестом, я более или

менее официальным образом спрашивал, могу ли я получить заграничный паспорт. Я прошу Правительствующий сенат исследовать истину по этому вопросу. Лицо, манеры и тон голоса г. Огарева всегда внушали и теперь внушают мне полную уверенность, что он никогда не унижится до уловок для получения признания, — да это и говорилось вовсе не к тому, чтобы получить от меня показание, — нет, он, конечно, считал основательным сведение, которое высказывал. Такое сведение важно, если основательно, для подкрепления обвинения меня в намерении эмигрировать, если же неосновательно, то как пример того, что гг. члены Следственной комиссии могли иметь неверные сведения обо мне и принимать их за верные, — то есть с полной добросовестностью ошибаться во вред мне. Где, как, у кого я более или менее официальным образом спрашивал, за несколько дней перед моим арестом, могу ли я получить заграничный паспорт? — Мне кажется, что это заслуживает исследования; если же не заслуживает, прошу Правительствующий сенат извинить то, что я напрасно утруждал его представлением этого моего мнения.

В изустных объяснениях на допросах в Следственной комиссии я говорил многое из того, что письменно представляю теперь Правительствующему сенату в свою защиту; но многого не говорил. Почему же я не говорил тогда? Если это не разъяснится самым ходом моего процесса, то я с полнейшею готовностью объясню это Правительствующему сенату, точно так же, как и все, что потребует объяснения, по мнению Правительствующего сената. Это показание дал 1 июня 1863 года Правительствующему сенату отставной титулярный советник Н. Чернышевский.

14

1863 года июля 24 дня я, нижеподписавшийся, будучи вызван в присутствии 1 отделения 5 департамента Правительствующего сената, по предъявлении мне г. сенатора Карла Бурхгартовича фон-Венцеля, имеющего судить дело мое, честь имею объяснить, что никакого подозрения не имею.

Отст. тит. сов. *Н. Чернышевский.*

15

Протокол допросов, предложенных 24 июля 1863 года присутствием I отделения 5-го департамента Правительствующего сената отставному титулярному советнику Чернышевскому

Допросы производили гг. сенаторы: Матвей Михайлович Карниолин-Пинский, Карл Бурхгартович фон-Венцель, Алексей Владимирович Веневи-тинов, Николай Евгеньевич Лукаш.

Вам предъявляется письмо с заглавием: «Добрый друг Алексей Николаевич», причем имеете объяснить:

1

Когда и где писано вами это письмо?

Ответ. Это письмо не мое; я не знаю, кем и когда оно написано.

2

Кто такой «Алексей Николаевич», к которому написано оно, какое у него звание и фамилия, когда вы с ним познакомились, в каких были и находитесь отношениях, где он проживал в то время, когда вы писали к нему письмо, и где теперь проживает?

Ответ. Я не знаю, кто такой Алексей Николаевич, к которому писано это письмо.

Но в ответе на 12 пункт я высказываю свое предположение о том, кому разумее автор письма под этим именем, если письмо это есть подделка, нарочно составленная.

3

В какой слишком большой доверчивости и по какому поводу упрекал вас «Алексей Николаевич» и кого вы разумели под людьми едва вам знакомыми, которым вы оказывали доверчивость?

О т в е т. Это не мои слова, потому что письмо не мое.

4

Противу чего и какие вы принимали предосторожности и чем, несмотря на оные, по вашему выражению, очень многим «рискуете»?

О т в е т. Это не мои слова, потому что письмо не мое.

5

К каким обстоятельствам или предположениям относятся слова, что времени терять нельзя, что должно быть теперь или никогда и почему раздумывать о сем много было бы преступлением, слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкою, никогда не поправимой?

О т в е т. Не знаю, потому что письмо не мое.

6

О каком станке вы пишете, которым водит вас Ал. Ник. около полугода, для чего он был вам нужен и чем именно он довел вас до того, что откладывать вы не можете, если хотите, чтобы дело ваше выиграло? Какое это дело, чье оно, кроме вашего, так как вы пишете «наше дело»? в чем именно оно заключалось и в каком положении находилось и находится?

О т в е т. Это письмо не мое, и я не знаю, о каком станке говорит автор.

7

Кто такие люди, подвернувшиеся вам (кому именно, ибо пишете к нам подвернулись) под руку, более года занимавшиеся тайным печатанием, как их зовут, когда, где, как они с вами познакомились, в каких были с вами отношениях, что в течение более года печатали, где и каким способом, и какое делали употребление из напечатанного? Почему вы их признаете хотя и весьма пустенькими, но энергичными, умеющими вести свое дело?

О т в е т. Я не знаю, кого разумел автор письма, которое не мое, когда говорил о этих людях и какие обстоятельства своего знакомства он разумел.

8

Какой вы напечатали свой манифест, воспользовавшись встречей с упомянутыми выше лицами, в чем заключался этот манифест, сколько напечатано и кем именно экземпляров и где они находятся, и в случае какого неуспеха большая доля ответственности падает на них самих? О какой ответственности вы тут упоминаете и почему полагаете, что большая доля оной должно пасть на них, а не на вас?

О т в е т. Я не печатал никакого манифеста и потому не знаю ничего об обстоятельствах, указываемых этим вопросом.

9

К прекращению каких слухов вы просите принять меры, и чем эти слухи могут вам повредить?

О т в е т. Не знаю, о каких слухах говорит письмо, не принадлежащее мне.

10

Кто такие Сулин, Сор. и К., о которых вы пишете в своем письме, как их имена, отчества, фамилии, звания и где они жили, при каких обстоятельствах вы с ними познакомились, и где они после находились? От кого вы слышали, что Сулин хвастает знакомством с вами и рассказывает, что отдал ему для тайного печатания свое сочинение? Если вы действительно передали ему для сей цели свое сочинение, то какое именно, было ли напечатано и какие были сему последствия?

Отв е т. Имя г. Сулина я узнал из слухов о процессе г. Костомарова; кто такие Сор. и К., я не умею сказать положительно; но судя по сопоставлению фамилий, полагаю, что под Сор. разумеется в письме Сороко, фамилию которого я знаю, как прикосновенную к процессу г. Костомарова, по слухам, и о знакомстве с которым мне были предлагаемы вопросы в высочайше утвержденной комиссии; а под К., — по тем же основаниям, я полагаю разумеющуюся фамилию г. Костомарова. Что разумеется под отношениями и отзывами автора письма, я не знаю.

11

Почему вы просите стараться заглушить эти слухи, и присовокупяете, что Сул. и Сороко не пользуются в Москве репутацией людей положительных и деятельных? Почему вы при этом обратили внимание на Москву?

Отв е т. Это не мое письмо, потому я не умею объяснить смысл этих слов.

12

В какой верности и на каком деле надо испытать К. по вашему мнению, прежде нежели с ним откровенничать? Кто и кому благодарен за какое знакомство?

Отв е т. Что обозначают эти слова, я не знаю; но полагаю, что автор письма, если оно поддельное, высказал эти слова по ошибочному предположению, будто бы я познакомился с г. Костомаровым через г. Плещеева, которого зовут Алексей Николаевич. Если же письмо не злонамеренная подделка, а просто, неизвестно мне почему, показавшееся похожим на мое письмо, то я не знаю, что обозначают эти слова.

13

С кем вы послали это письмо, о котором вы пишете, что он спешит?

Отв е т. Это письмо не мое, потому не знаю, с кем оно послано своим автором.

14

О добром исходе какого вашего дела вы пишете сомневается Ал. Ник. и почему вы присовокупили так не годится? В какой успех вы склоняете иметь более энергии, более веры? Что должно понимать под выражениями: дремать грешно в такое удобное время, когда все проснулось?

Отв е т. Не знаю, потому что письмо не мое.

15

Что не выходит у Ал. Ник., в чем вы его упрекаете, присовокупяя, что времени не теряете в бесплодном раздумье?

Отв е т. Не знаю, потому что письмо не мое.

16

Кто Л., о котором вы упоминаете, и какие чудеса (как вы выражаетесь) он наделал с своими офицерами? Что значит цифра 23 и потом — в Понизовьи?

Отв е т. Не знаю по той же причине.

17

В чем именно заключается работа Ал. Ник., которая легче, но подвигается медленно? Медленнее какой другой работы?

Отв е т. Не знаю, по той же причине, то есть потому, что письмо не мое

18

Писали ли вы вскоре после этого письма другое через К., как обещали?

Отв е т. Это письмо не мое, потому не могу ничего отвечать на этот вопрос.

## 16

1863 года августа 13 дня я, нижеподписавшийся, будучи вызван в 1 отделение 5-го департамента Прав. сената дал сию подписку в том, что сего числа приступил к чтению записки из дела, обо мне составленной, которое обязуюсь окончить в узаконенный срок и подать рукоприкладство.

Отст. тит. сов. *Н. Чернышевский.*

## 17

В Правительствующий сенат от отставного титул. советника Чернышевского. Образец черновой литературной работы Чернышевского, содержащий в себе пятнадцать полулистов и один полулист пояснительной заметки (писанной 14 августа).

В той части записки по делу Чернышевского, которую Чернышевский прочел 13 августа, очень много говорится о литературной деятельности Чернышевского, о личных свойствах его характера, особенно о его самолюбии. Эти соображения подтверждаются авторами бумаг, их содержащих, посредством извлечений из черновых бумаг и семейных писем Чернышевского.

Чернышевский находит полезным для разъяснения представить вложенный здесь образец черновой его работы, заключающейся на 15 листах его нумерации, деланной его рукою ныне поутру, 14 августа.

Это нужно для облегчения разбора дела о Чернышевском — в его ли пользу, или нет, он предоставляет решить пр. сенату.

Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.*

14 августа 1863 г.

Р. С. Он просит гг. делопроизводителей просматривать листы по порядку нумерации, деланной им 14 августа, — читать всего сплошь не стоит, по его мнению, достаточно употребить часа полтора или два на пересмотр.

Но если гг. делопроизводители будут читать внимательно, сплошь, то тем лучше для разъяснения дела. Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.* 14 августа 1863.

Чернышевский предполагает, что легче всего понять эти странные работы, если предположить, что этот материал для будущих романов, именно для таких частей романов, в которых изображается состояние очень сильного юмористического настроения, доходящего почти до истеричности. Но, конечно, он не в праве требовать, чтобы гг. делопроизводители ему верили на слово. Отставной тит. сов. *Николай Чернышевский.*

## 18

«Прочитав на листах 409—410 черновой (дополнительной) записки по моему делу изложение результатов сличения почерка письма к Алексею Николаевичу, которое я называю принадлежащим мне, с моими подлинными письмами или бумагами, я осмеливаюсь просить Правительствующий сенат разрешить мне, если то не противно закону,

прибегнуть к тем из даваемых наукою для распознавания почерка средств, какие могут быть допущены по закону (мое дополнительное показание, записка, лист 351).

Из них первое требует, чтобы мне самому дана была возможность сличить отвергаемое мною письмо с А) бумагами, несомненно писанными почерком г. В. Костомарова; В) бумагами, писанными мною, которые были принимаемы за основание для сличения моего почерка с почерком письма.

Итак, имею честь просить Правительствующий сенат, если не противно закону, дать мне на рассмотрение эти бумаги. При рассмотрении отвергаемого мною письма и бумаг почерка г. Костомарова нахожу полезным пользоваться сильною лупою, увеличивающею в 10—12 раз; прошу у Правительствующего



сената или приказания доставить ее мне, или разрешения мне приобрести ее.  
20 августа 1863. Отставной титулярный советник *Николай Гаврилов сын Чернышевский*.

19

1863 года августа 21 дня я, нижеподписавшийся, быв вытребован в присутствии 1 отделения 5 департамента сената, дал сию подписку в том, что заключение сената на просьбу мою о сличении почерка руки моей мне объявлено, — выслушал. Отст. титул. советн. *Н. Чернышевский*.

20

Записку сию читал; нахожу ее составленную с делом правильно; на господ сенаторов, обер-прокурора, обер-секретаря и секретаря подозрения не имею; при слушании дела быть желаю; причем покорнейше прошу Правительствующий сенат принять во внимание рукоприкладство мое, при сем прилагаемое на одном листе. Отставной титулярный советник *Николай Гаврилов сын Чернышевский* [25 сентября 1863].

21

Прошу Правительствующий сенат обратить внимание на следующие обстоятельства:

1. Выписка л. 15. Я был арестован по подозрению в намерении эмигрировать; но не только намерение эмигрировать, и самое эмигрирование не составляет преступления; преступлением становится уже только ослушание приказаю возвратиться. Св. зак., т. XV, кн. I, ст. 368 (также 367, 369, 370).

2. Мои письма к его величеству и г. генерал-губернатору, писанные в ноябре, не внесены в дело. Выписка, л. 297.

3. Картонные лоскутки мнимого шифра, дело л. 167—170 прошу сравнить с действительными ключами шифра, в которых нумерация букв различна, между тем, как на лоскутках одинакова. Дело, л. 297.

4. Письмо г. Костомарова имеет все признаки, отличающие произведение вымысла от фактического рассказа. Дело, л. 282. Лицо, к которому адресовано письмо, очевидно есть лицо выдуманное. Дело, л. 321.

5. У г. В. Костомарова 5 марта не было улик против меня, дело, л. 287 обор. А 7 марта явилась в руках лиц, обыскивавших его, записка карандашом, приписываемая мне, дело, л. 303.

6. Письмо о разговоре г. Яковлева в смирительном доме, л. 434, подтверждено официальными актами, дело, л. 396, и решением комиссии высочайше одобренным, дело, л. 438 и 446.

7. В дополнительном показании моем Правительствующему сенату я вызывался подтвердить приводимые мною факты. В деле есть уже подтверждения большей части их, например, на листах 342, 305, 306, 326 дела.

8. Слова мои о влиянии неосновательных слухов обо мне на начатие и ведение процесса против меня (выписка, л. 284) подтверждаются тем, что подобными слухами наполнено дело; примеры их листы 48—53 дела.

9. Слова мои об истинной причине раздражения г. Костомарова против меня делаются несомненными после того, как сам г. Костомаров ясно намекает на нее и отказывается пояснить свои слова; выписка, л. 318, дело л. 342.

10. Солидный характер г. Плещеева, известный сотням лиц, несовместен с отношениями, в которые ставит его ко мне «письмо к Алексею Николаевичу», выписка, л. 397. Лживость этого письма, конечно, уже раскрыта и официальными мерами по поводу этого письма, подвергавшими г. Плещеева неприятностям.

11. В «писъме к Алексею Николаевичу» слово некогда (нет времени) написано вѣкогда (когда-то, когда-либо). Выписка, л. 400 обор.

12. Это письмо есть подлог, — факт подобного рода нуждается в точнейших средствах исследования истины, о которых говорю я на листе 346 выписки и в бумаге, поданной мною Правительствующему сенату по поводу акта сличения почерка этого письма.

13. Появление «письма к Алексею Николаевичу» противоречит словам г. Костомарова перед его появлением, что у него, г. Костомарова, уже не остается улики против меня; дело, л. 341; выписка, л. 418 обор.

14. Появление «письма к Алексею Николаевичу» заставило делать новые выдумки, противоречащие прежним его показаниям и его письму к Соколову; все его показание 31 июля (л. 411 след.) проникнуто подробностями, несовместными с его прежним изложением его мнимых тайных сношений со мною; вот некоторые черты несовместности:

ПОКАЗАНИЕ Г. КОСТОМАРОВА  
31 ИЮЛЯ

В первый свой проезд в Петербург, имел он рекомендательное письмо ко мне от Плещеева (выписка, л. 413).

Первая редакция прокламации к барским крестьянам, при первом чтении ее у меня, не понравилась г. Костомарову; выписка, л. 413 обор.

Итак, г. Костомаров тут же, в первое свидание со мною, при первом чтении в моем кабинете, потребовал изменения редакции; я не согласился; г. Костомаров отказался печатать. Он не помнит, виделся ли со мною еще раз для продолжения переговоров, — одно или два свидания мои с ним были заняты ими; но он и я лично вели переговоры (выписка, л. 414).

Все эти чтения и переговоры — выдумка г. Костомарова.

Во время своих занятий тайным печатанием (несколько месяцев) г. Костомаров ездил в Петербург «очень часто», «раза по два в месяц» (выписка, л. 418).

Узнав, что рукопись прокламации в Москве, г. Костомаров «сейчас же» поехал в Петербург предупредить меня; в эту поездку он получил от меня «письмо к Алексею Николаевичу» (выписка, л. 416, 417).

По всему этому прошу Правительствующий сенат повелеть освободить меня от содержания под арестом; и применить статьи 383, 390, 392, 404, 475, 1206 и 1288 Св. зак., т. XV, книги I к лицам, которые, по исследованию, окажутся виновными в нарушениях закона по моему процессу. Отставной титулярный советник *Николай Чернышевский*.

ПРЕЖНИЕ СЛОВА Г. КОСТОМАРОВА

Он, уже познакомившись с Михайловым, «не знал, как устроить знакомство» со мною, и только Михайлов познакомил его. О рекомендательном письме — ни слова; явно, его не было (л. 325 дел.)

При этом первом чтении, г. Костомаров был в таком восхищении, что даже не мог говорить, и потому Михайлов увез его (дело, л. 287 обор.).

Требование изменить редакцию прокламации явилось у г. Костомарова только при втором ее чтении (у Михайлова), — только тут, на другой день после первого чтения; переговоры со мною вел исключительно Михайлов, ездя для этого ко мне один, без Костомарова, и г. Костомаров знает об этих переговорах только по пересказу Михайлова (дело, л. 327, 329, 287).

Он до своего арестования ездил в Петербург, «кажется» ему, только два раза (дело, 290).

Узнав, что рукопись в Москве, он занялся приготовлениями к печатанию и печатанием ее (дело, л. 288), а известил меня письмом о том, зачем, по показанию 31 июля, сам ездил в Петербург (дело, л. 376, ф).

Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший.

Просит отставной титулярный советник Николай Гаврилов сын Чернышевский, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:

1

Мой процесс веден так, что решение его в том или другом смысле имеет для правительства важность, далеко превышающую решение того, какова будет моя личная судьба.

2

Потому, сказав это, я исполняю долг русского подданного, прося Правительствующий сенат или принять во внимание политическую сторону фактов, приводимых в моем рукоприкладстве, или принять те меры, какие повелеваются законом в подобных случаях, а потому всеподданнейше прошу,

Дабы повелено было рассмотреть политическое значение фактов, совершившихся по моему процессу. Отставной тит. сов. Николай Гаврилов сын руку приложил. Сентября 25 дня 1863 года.

К поданию надлежит в первое отделение пятого департамента Правительствующего сената.

23

Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший!

Просит отставной титулярный советник Николай Гаврилов сын Чернышевский, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:

1

По прочтении моего дела для сделания рукоприкладства, я нахожу средства в значительной степени пояснить обстоятельства моего процесса на основании данных, которые представляются бумагами, заключающимися в этом деле. Те, что можно было по закону ввести в форме рукоприкладства, я изложил в нем; пояснения, не вошедшие в рукоприкладство, излагаю в этой моей просьбе.

2

По изложению обстоятельств моего арестования надобно заключать, что самый факт ареста был произведен по распоряжению, еще не уполномоченному высочайшею волею государя императора, которому было доложено об арестовании меня, как о факте уже совершившемся, только для испрошения высочайшей воли по вопросу о том, в каком месте заключения содержать лицо, уже арестованное. Я теперь сужусь по обвинению в политическом преступлении; следственно, самый характер процесса моего обязывает меня выставлять на обсуждение надлежащих правительственных учреждений политическую сторону моего процесса. Не зная, как не-юрист, в праве ли Правительствующий сенат принять во внимание эту (политическую) сторону дела, я излагаю ее в отдельной просьбе, для того, чтобы настоящая моя просьба не погрешала по форме, если просьба к Правительствующему сенату о принятии во внимание политической стороны дела есть погрешность против формы.

3

Фактом моего арестования правительство и один из его органов — высочайше учрежденная Следственная комиссия — с одной стороны, а с другой — один из подданных его императорского величества, именно я, были поставлены в такое отношение: арестован человек, против которого нет обви-

нений; это положение имело первым своим последствием нарушение Св. законов, т. XV, кн. I, статья 475. Допрос мне в первый раз был сделан спустя только уже около четырех месяцев после моего арестования, и только на этом допросе была высказана причина моего арестования (выписка, л. 54).

4

Время шло; надобно же было представить в высочайше учрежденную комиссию что-либо под именем улик или обвинений против меня. И вот явились на внимание комиссии разные бумаги из числа найденных у меня. Из чтения моего процесса я увидел, что не было обращено никакого внимания на особенности положения журналиста и потому выставлены были, как факты подозрительные по своей странности, такие обстоятельства, которые необходимо связаны с профессиею журналиста. Со мною было то самое, как если бы, нашедши в лаборатории химика химические реактивы, стали удивляться этому и строить на этом юридические действия против него. Потому вижу теперь необходимость изложить некоторые особенности профессии журналиста.

5

Первая из них — та (неприятность для людей нежного темперамента и) безразличная для журналистов, привыкших к своему положению, проделка оскорбляемых ими литературных или сословных самолюбий, что журналист нередко получает пасквили против себя. Таких пасквилей — немало в моих бумагах. Выбраны были те из них, которые имеют своим содержанием политическую брань на меня. Эти пасквили введены в дело в нарушение Св. зак., т. XV, ч. 2, ст. 53.

6

Ясно, что письмо гг. Герцена и Огарева (дело, л. 72) прислано было ко мне как пасквиль или подметное письмо. Ясно, что оно однако же теперь уже не может быть не принято во внимание, потому что из него уже извлечены комиссиею многие вопросы Чернышевскому (дело, л. 359). Поэтому я уже имею право ссылаться на него. Поясню при этом, что я обязан был, как литератор, сохранить у себя этот документ: он важен для истории литературы, и всякий ученый, занимающийся ею, скажет, что я поступил бы недобросовестно, если бы или уничтожил его или передал в какой-нибудь архив официального места, не открытый для ученых, занимающихся историею литературы. Это письмо показывает неприязненность моих отношений к гг. Герцену и Огареву; оно явно выставляет, что подозрение в моем намерении эмигрировать для сотрудничества с Герценом было неосновательно. Оно показывает также (дело, л. 359), что на самом деле я поступал противоположно лживым слухам обо мне, о которых буду говорить ниже.

7

Также я уже имею право ссылаться на другой пасквиль против меня, когда он введен в дело. Это — анонимное письмо ко мне (дело, л. 83). Я прошу обратить в нем внимание на слова безыменного автора ко мне: «Вспомните, в какую цену вы оценили наши имения» (л. 84). Они показывают истинный источник бывших обо мне слухов, как о человеке злонамеренном: сословное раздражение той части дворян-землевладельцев, которая была недовольна освобождением крепостных крестьян. Видя, что, с одной стороны, напор на правительство по этому делу очень силен (например, требуются невозможные цифры выкупа по расчету дохода в 70 или 80 р. с. с тягла, с капитализациею из 5%, — около 600 руб. сер. за ревизскую душу), — я считал полезным противодействовать этому невозможно сильным отстаиваньем низких цифр, чтобы правительство имело возможность остановиться на умеренных, возможных величинах выкупа.

Это письмо введено в дело; оно послужило одним из источников для письма г. В. Костомарова к г. Соколову. Там и здесь подозрения на меня выводятся из того, что я социалист. — В печатной литературной полемике мои литературные противники действительно называли меня социалистом; называли также Кромвелем, Бонапарте и проч. Я не имею ровно ничего против употребления этих или каких бы то ни было других укоризненных или обвинительных прозваний против меня в литературной полемике. Я надеюсь, что огромное большинство литераторов, полемизирующих против меня, и большинство рассудительных читателей понимает истинное значение резких выражений в полемике: они служат приправою, без которой спор казался бы скучен публике.

Это риторические фигуры: метафоры, метонимии, гиперболы. — Но я не ждал, чтобы полемический термин моих литературных противников был введен в следственное дело против меня с юридическим смыслом. Я твердо убежден, что огромное большинство их вознегодовало бы на этот факт, если бы узнало о нем.

В юридическом смысле слова, — в серьезном ученом смысле, который один имеет юридическое значение, термин «социалист» противоречит фактам моей деятельности. Обширнейшим из моих трудов по политической экономии был перевод трактата Милля, ученика Рикардо; Милль — величайший представитель школы Адама Смита в наше время; он гораздо вернее Адаму Смиту, чем Рошер. Из примечаний, которыми я дополняю перевод, обширнейшее по объему исследование о Мальтусовом законе. Я принимаю его, и стараюсь развить Мальтусову формулу. Этот принцип — пробный камень безусловной верности духу Адама Смита. Я не социалист в серьезном ученом смысле слова по очень простой причине: я не охотник защищать старые теории против новых. Я, — кто бы я ни был, — стараюсь понимать современное состояние общественной жизни и вытекающих из нее убеждений. Распадение людей, занимающихся политической экономией, на школы социалистов и не-социалистов — такой факт в историческом развитии науки, который отжил свое время. Практическое применение этого внутреннего распада науки также факт минувшего: в Англии, давно; на континенте Западной Европы — с событий 1848. — Я знаю, что есть многие отсталые люди, полагающие, что это мое мнение подлежит спору; но это спор уже о том, основательны ли мои ученые убеждения, — предмет, чуждый юридического значения. А между тем, он введен в дело.

В дело введено мое письмо к жене (л. 154). О политической стороне этого факта не говорю здесь: она излагается мною в другой просьбе моей. Письмо это дало тему, также вошедшую в письмо г. В. Костомарова к Соколову, и несколько строк, в которых я тут называю себя Аристотелем, много раз повторяются потом в деле, как уличение меня собственными моими устами в непомерности самолюбия, и наведения тем на мысль, что человек с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка (дело, л. 157, л. 283 и 286). В числе моих слабостей есть гордость, — качество, противоположное мелкому самолюбию, хотя бы и непомерному, — но все-таки качество, имеющее свои забавные стороны. Я люблю смеяться над своими слабостями. Все мои статьи, все мои письма к людям близким наполнены моим иронизированием над собою. Может быть, это также недостаток. Но до него нет дела уголовному следствию. Ирония не предмет XV тома Свода законов. Между тем я нашел в деле факт, о котором говорю.

Действительно ли я человек непомерного самолюбия? — Пусть прочтут серьезные страницы моих статей. В них я называю — даже в нашей бедной современной русской литературе — нескольких людей, которых ставлю выше себя по ученой и публицистической деятельности. Пусть обратятся с вопросом к людям, знающим меня близко, — такой ли я человек, который бы

тяготил кого-нибудь своим самолюбием. Пусть же употребят серьезные, достойные средства к разъяснению психологического вопроса, который не подлежит суду по XV тому Свода законов, но который я вижу введенным в дело для осуждения меня по этому тому.

Но, — нарушая границы между биографическим любопытством и юридическими обязанностями, не захотели даже принять серьезных средств к открытию истины, а сделали гораздо проще: дали юридический смысл ироническому отрывку.

Мое письмо к жене, приводимое в деле, состоит из двух частей: в одной я говорю о себе так, что посмеется над этою частью письма всякий, — и я смеялся, когда писал ее, — смеялся над собою, превеличивая до нелепости ту сторону моих ученых предположений, которая забегает в будущее: я излагаю план таких ученых работ, для исполнения которых нужно несколько сот лет работать день и ночь, работ, которых не в состоянии исполнить никто на свете; в этой части письма я называю себя продолжателем Аристотеля. В другой половине письма, о действительных делах, я просто говорю моей жене, что она, по моему мнению, может лучше меня рассудить, потому что умнее меня (л. 155, оборот). Ясно, что первая половина письма — мое иронизирование над самим собой. Но не умели или не могли обратить внимание на такой простой способ понять, в чем тут вся вещь.

10

Но при всех этих вещах все-таки не было ни улики, ни даже таких фактов, на которых можно бы было основать серьезное следствие против меня. Высочайше учрежденная комиссия видела это. Желая дать ей путь выйти из положения, в которое она была поставлена фактом моего арестования, я написал, после первого моего допроса, письма к его величеству и к г. генерал-губернатору. Этих писем нет в деле (выписка из дела, л. 297). Почему их нет в нем, я говорю в другой моей просьбе.

11

Комиссия видела недостаточность подозрений, взводившихся на меня бумагами, бывшими в ее руках во время первого допроса (30 октября). Поэтому после этого допроса (16 ноября, по отметке на л. 164) были доставлены ей тетради моего дневника (л. 181 следд.) с картонными лоскутками (л. 167 следд.), которые в бумаге, передающей их комиссии, названы «кузачателями» «шифра», хотя в это время уже было удостоверение от министерства иностранных дел, что мой дневник писан не шифром (тот же 164 лист).

12

Политическую сторону введения в дело вещей, подобных моему дневнику, я разъясняю в другой моей просьбе. Здесь оставляю политическую сторону вопроса без рассмотрения.

Способ сокращенного писания подобного моему, употребленному в дневнике, употребляется, в большей или меньшей удачности сокращений, почти всеми студентами университетов, записывающими лекции. Это служит заменой стенографии, а не тайным письмом. Я с детства писал очень много, и еще в семинарии записывал таким образом лекции, — тетради этого периода, еще детского, находятся в моих бумагах. В университете привычка развилась у меня. Из того периода в моих бумагах есть между прочим весь «Герой нашего времени» Лермонтова, переписанный таким способом. И после я точно так же писал почти все, что писал для себя (например, в деле л. 61 и 62, черновые списки с моих писем к профессору Андреевскому, оставленные у себя мною для будущих справок). Все это было в руках и перед глазами лиц, разбравших мои бумаги. И все-таки на л. 164 дневник мой выдается за написан-

ный шифром, — даже после уверения министерства иностранных дел, что он писан не шифром.

Что такое этот дневник? — Министерство иностранных дел нашло, что не следует понимать его в смысле обыкновенного дневника (л. 164, оборот). В бумаге, присланной в комиссию, это мнение министерства передается словами: «можно думать, что слог этот имеет условный смысл». Я не знаю, до какой степени точно передан этот отзыв министерства в этой бумаге; подлинного отзыва министерства нет в деле. Разбиравшим бумаги мои должно было бы знать, что они разбирают бумаги литератора. При разборе бумаг они могли бы заметить, что им попадаются повести, писанные моею рукою. Если бы они потрудились заметить эти два обстоятельства, мне не пришлось бы утруждать Правительствующий сенат объяснениями факта, которому не следовало бы попадать в дело.

Я издавна готовился быть, между прочим, и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах, — рано им не получить успеха. Если бы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романа в 35-летнем возрасте. Руссо ждал до старости, Годвин также. Роман — вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе. Итак, я готовил себе материалы для стариковского периода моей жизни. Мною написаны груды таких материалов — и брошены; довольно написать, хранить незачем, — цель: утверждение в памяти — уже достигнута. Но я не мог уничтожить некоторых моих черновых работ, потому что они были писаны на одних листах с вещами, которые я считал интересными для меня. Тетради, внесенные в дело, — именно таковы. Среди материалов для будущих романов набросаны кое-какие отметки из моей действительной жизни (например, список дней, когда я в первый раз говорил с моею невестою, когда она дала мне слово).

Надобно объяснить, что у меня, как почти у всех беллетристов, порядок возникновения романа таков: берется факт, отдается на волю фантазии, она играет им, — это самый важный период так называемого «поэтического творчества». Итак, тут в моем дневнике вольная игра моей фантазии над фактами. Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически развиваю эти вымышляемые мною сцены.

Что же я вижу здесь в деле? Берут одну из этих сцен и дают ей юридическое значение. На этом основан весь ход моего процесса до передачи его в Правительствующий сенат. Сцена состоит в том, что какое-то «я» говорит девушке, что может со дня на день ждать ареста, и если его будут долго держать, то выскажет свои мнения, после чего уже не будет освобожден. В тех же тетрадах есть многие другие «я». Одного из этих «я» бьют палкою при его невесте (л. 213). Можно удостовериться справкою, что ни тогда, ни вообще когда-либо со мною, Чернышевским, ни при его невесте, ни без невесты не случалась ничего такого. Я могу объяснить, из каких фактов взята мною, как литератором, сцена, вошедшая в дело с таким важным влиянием на него. Это прикрашенный идеализацией случай из жизни Иоганна Кинкеля (известного немецкого ученого, о котором тогда много писали в газетах), приспособленный мною, как романистом, к рассказу, незадолго перед тем слышанному мною от Николая Ивановича Костомарова (не имеющего ничего общего с г. В. Костомаровым) — он был арестован в то время, как собирался жениться (за пять лет перед тем). Два очень простые соображения могли бы показать, что сцена, созданная мною, литератором, для будущего романа, не тогда относится к моей действительной жизни: 1) у меня, Чернышевского, не было тогда не только друзей, даже близких знакомых между важными людьми; в этой сцене действует человек, имеющий за себя сильных в правительстве друзей; 2) тогда (весною 1853) не было в России, не только в Саратове, где я жил уже два года, даже в столицах, никакой политической жизни, не только тайных обществ. Это факт, принадлежащий истории.

В другой моей просьбе я поясню отношение между предположением, основанным на этой сцене, и фактами моего процесса, здесь я только скажу, что действительно я, Чернышевский, поступил, наконец, так, что оказалась разница между ним и романтическим лицом, слова которого были ему приписаны (дело, л. 247, 252, 256, 257, 258; поясняются листом 261; но в деле нет первых записок моих по этому обстоятельству, и нет письма, написанного мною с целью открыть комиссии истинное положение дела. Письмо это имеет форму ответа моей жене на ее вопрос о том, в чем состоит мое дело. Я не знаю, было ли оно доложено комиссии).

Итак, по связи между предыдущими фактами, объясняемой мною в другой просьбе, в начале марта (8 марта по отметке на л. 281) в комиссию были, наконец, доставлены, — только уже по прошествии восьми месяцев после моего арестования, — такие документы, которые она могла принять за основания для начатия процесса против меня.

Первый из этих документов — письмо к Соколову. По приблизительному моему счету, оно имеет до 30 000 букв; оно занимает в выписке 117 страниц. Требуется значительное время, чтобы переписать набело такое произведение. Список, взятый у г. В. Костомарова г. Чулковым и находящийся в деле (л. 282 след.), очевидно, есть беловой список.

Изготовление черного подлинника требовало времени, еще более значительного, чем переписка его набело. Литературная отделка труда тщательна. Расположение его частей многосложно и обдуманно. Г. Костомаров приехал в Тулу 5 числа марта поутру (318). В тот же день, 5 марта, письмо это было уже найдено у него г. Чулковым (л. 318). На письме выставлено «Тула, 5 марта», — но оно не могло быть ни изготовлено, ни даже только набело переписано в Туле. Оно заготовлено раньше, это очевидно по расчету физической невозможности противного. Итак, где же оно изготовлено? 1 марта г. Костомаров приехал в Москву, и у него был посетитель, г. Яковлев (л. 317); посещение г. Яковлева было продолжительно, как видно из важности предмета их совещания и из того, что г. Костомаров и г. Чулков должны были убеждать г. Яковлева (л. 317, 300, 470). 2-го числа г. Костомаров был уже болен, или должен был держать себя, как больной (л. 317, оборот); это продолжалось до самого его выезда из Москвы; он не мог в эти три дня много заниматься письменной работою; и кроме того, у него в это время бывало много посетителей (317, оборот). Человек опытный в литературных работах видит, что и в Москве не могло найтись достаточно времени у г. Костомарова, — что он взял с собою свою работу (или не свою, а только переделанную им с другой, чужой работы), когда поехал из Петербурга (28 февраля). Сличение этой работы с письмом Герцена обо мне, найденным у меня, — с пасквилом на меня, найденным у меня, — с иронической частью моего письма к жене (л. 72, 2, 154) обнаруживает, что «письмо к Соколову» есть литературная работа, половина которой основана на этих документах, — что они были под глазами у составителя «письма к Соколову» во время его работы. Это очевидно для человека, имеющего опытность в разборах подобного рода вопросов (в критической технике), — точно так же, как и следующее: «письмо к Соколову» есть произведение вымысла (зачеркнуто: «поэма», как шуточно выражается о нем сам г. Костомаров), «чуть ли не целая эпопея», по шутовому выражению самого г. Костомарова (л. 282); — в ученом и истинном юридическом смысле это, конечно, не «эпопея» в частности, но «произведение вымысла». Как всякое произведение вымысла, оно пропитано подробностями, не выдерживающими юридических вопросов: «кто», «когда» и «где».



Г. Костомаров приписал этому произведению вымысла юридическое значение (322 лист, он готов подтвердить присягою подробности письма, которые можно будет ввести в дело; это письмо есть «откровенная беседа с старым другом»). Комиссия не занялась исследованием той стороны письма, которую я выставляю; но и на те малочисленные «кто», «где и «когда», которые предлагались ему по поводу «письма к Соколову», г. Костомаров часто был должен отвечать, как всякий автор вымышленного произведения стал бы отвечать на юридические вопросы о подробностях его вымысла, — «не умею объяснить», «не знаю». Из этих случаев самый любопытный — г. Костомаров не знает даже, какое звание имеет лицо, которое он называет своим старым, задушевым другом: «чин и звание г. Соколова неизвестны мне», — говорит г. Костомаров (л. 321), — ясно, что даже этот друг есть поэтический вымысел.

Я скажу, откуда, по всей вероятности, взята фамилия для этого вымышленного лица. «Соколов» упоминается в письме г. Плещеева, которое найдено при г. Костомарове в Туле (штемпель письма г. Плещеева — 4 июня 1861). Но по этому письму, этот действительный г. Соколов вовсе не «старый, задушевный друг» г. Костомарова (311 лист). Подобное заимствование фамилий для вымышленных лиц — очень обыкновенная вещь.

Комиссия не обратила внимания даже на то, что если бы этот г. Соколов, вымышленный поверенный тайн г. Костомарова, не был лицо вымышленное, то не было бы ни малейшего затруднения отыскать его, хотя бы г. Костомаров не знал или не захотел указать его адреса: у него очень много примет, с которыми трудно человеку затеряться в толпе (л. 321).

Точно так же г. Костомаров не помнит цвет, формат и клеймо бумаги первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам (326 лист); но если бы эта рукопись была читана при нем два раза и служила предметом споров, то нельзя было бы не заметить ему ее формата и цвета.

Точно так же он не знает личностей, которые «стали жертвами» моего агитаторства и о которых столько рассуждает в письме к Соколову; «я вовсе не имел в виду какие-либо личности», принужден он сказать на вопрос: кто они? (л. 339). Ясно, что эти личности — риторическая фигура, называемая «просопопеєю». — Впрочем, он прибавляет, что это «авторы журнальных статей» (л. 339), или, в другой раз, что это «молодые люди, которые агитировали», как ему «кажется», под моим «влиянием» (л. 346), — но это ему только «кажется» (346), — это только его «личный взгляд», «непогрешительность которого» он «не намерен упорно отстаивать» (л. 339, оборот); он принужден даже сказать, что у меня не было своего «кружка», и называет это свое выражение «неосмотрительным» (л. 339). Он никого не знает, кроме себя, кто стал бы агитатором по моему влиянию; а сам он занялся тайным печатанием до знакомства со мною. Ясно, что все это выдумка: и мое агитаторское влияние на г. В. Костомарова, и чтение первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам, и эта первоначальная редакция.

Но показание, вопросы для которого можно было извлечь из письма к Соколову, не могло опираться ни на какие доказательства (сам г. Костомаров на допросе сказал, что только поэтому и удерживался до той поры от показания против меня, л. 332). Явилась в комиссию записка, писанная карандашом. Она найдена вследствие того, что нашлось письмо к Соколову, — нашлось именно при обыске г. Костомарова в III отделении собственной е. и. в. канцелярии (л. 303). Находка эта противоречит «откровенной беседе» г. Костомарова со «старым другом», г. Соколовым (л. 322), в которой, за три-четыре дня перед тем, он говорил, что не имеет письменных улик против меня («были», но он что-то «сделал» с ними, л. 284, оборот); что он сделал с ними? — почему не имел их 5 марта в Туле? — потому что «сжег», — говорит в одном месте об одном документе, который будто бы был у него (л. 337); в другом месте, отказывается объяснить, что сделал с ними (л. 341); в третьем месте, вставлено в дело шифрованное письмо, которое он дешифрирует

и которое излагает, что письма против меня отданы на сохранение лицу, имени и адреса которого он сам (г. Костомаров) не знает (л. 296).

Истина очень проста: все это — выдумка. Никогда никаких письменных улик против меня не имел г. Костомаров. Записка карандашом — не моя; прошу строжайше рассмотреть ее. Степень технической точности ее рассмотрения свидетельствуется тем, что подпись ее прочтена за букву Ч., между тем как это буква С. (подлинник записки, дело, л. 304; выписка, л. 131, оборот). Рассматривавшие были вовлечены в оплошность тем, что не знали, каким образом ведется дело против меня, и потому были чужды предположения обмана в документах, предъявляемых против меня.

Но лица, вводившие в такой обман, натурально ждали, что обман этот может как-нибудь и не удался. Потому записка карандашом казалась им недостаточна, и явился против меня, сверх улики, и уличатель, г. Яковлев. После того, как он за свое показание против меня отправлен на жительство и под надзор полиции в Архангельскую губернию (л. 448), я считал бы излишним рассматривать его показания против меня; однако же, скажу несколько слов.

Г. Чулков известился о своем отъезде через Москву с г. Костомаровым только 27 февраля; 28-го они выехали (л. 317, 281); на другой день, — в первый же день их приезда в Москву, г. Яковлев уже знает о их приезде, является к ним, пишет свой донос на меня (л. 390). Г. Чулков свидетельствует, что г. Яковлев «уже оказал ему услугу» (л. 392), г. В. Костомаров тоже говорит, что г. Яковлев оказал ему «весьма важную услугу», и что он, г. Костомаров, «подарил» г. Яковлеву «свое пальто» (л. 394).

Г. Яковлев, отправившись доносить на меня, по дороге пьет и буйствует, как сам говорит (л. 390). Итак, у него есть средства пить до буйства, когда он «оказывает услугу».

Он уже «неоднократно за дурные поступки был в приводах» по делам московского мещанского общества (л. 396).

Слова, которые влагает мне в уста г. Яковлев (л. 300 и л. 411) — заглавие и начало прокламации (выписка л. 421) — неужели я помнил ее наизусть? И неужели не выражался бы в разговоре короче и проще? Многосложные письменные заглавия не употребляются в разговоре; и какая надобность была декламировать начало прокламации? Ведь это не стихи, а проза; так не бывает.

На вопрос, почему медлил показанием против меня, г. Яковлев отвечал, что только в феврале узнал о характере процесса г. Костомарова (л. 409); а между тем, он виделся с г. Костомаровым в ноябре 1862 (л. 411, оборот), когда уже было и высочайше утверждено мнение Государственного совета по делу г. Костомарова.

При предъявлении меня г. Яковлеву была нарушена форма, по которой следует в подобных случаях показывать обвинителю несколько человек (л. 419), — явно опасались, что г. Яковлев не сумеет выбрать, кто из них я.

Кроме всего этого, весь ход дела поясняется словами самого г. Яковлева, приводимыми в письме, по которому г. Яковлев наказан за этот свой поступок. Этим решением явно признана справедливость этого письма (л. 434); притом подробности разговора, передаваемого этим письмом, подтверждаются документами, находящимися в деле, которые не могли быть известны писавшим письмо (л. 436, 437, 394, 388). По записке г. Чулкова (л. 392) от 1 марта, желание г. Яковлева доносить на меня было известно со 2 или 3 марта; но только 3 апреля комиссия постановила: вызвать его к допросу (385); итак, целый месяц колебались, прежде чем, вынужденные крайностью, решились ввести комиссию в эту ошибку.

Рапорт г. Чулкова, объясняющий его выражение, что «г. Яковлев оказал ему услугу», подан уже по решению комиссии испросить и по испрошении высочайшего повеления передать мое дело в Правительствующий сенат; на

этом рапорте число и месяц его подачи подскоблены (л. 470; подскоблена ли цифра 7, не могу наверное рассмотреть без лупы; имя месяца «мая» — очень явно написано по подскобленному).

В дополнительном показании моем в Правительствующий сенат я вывасался подтвердить подробными доказательствами те факты этого показания, которые покажутся еще нуждающимися в подтверждении (выписка, л. 287). В записке и в деле я уже нашел подтверждения для большей части фактов, приводимых мною. Приведу лишь немногие, для примера.

Я говорю в показании, что на мое арестование и ведение дела против меня имели [влияние] ложные слухи (л. 284, выписка). Их примеры в выписке: листы 9—18 — безыменное письмо, о котором я говорил выше; оно основывается на лживых слухах о моем участии в столкновениях, бывших в Спбургском университете; когда и в каком духе я вмешался в эти дела, видно по документам (дело, л. 58, 59—62, 63, 64—65), их объяснение, если нужно оно, докажет: 1) что я познакомился с гг. студентами, имевшими влияние на товарищей своих, только уже после манифестации в Думе; 2) познакомился с целью быть посредником между ними и князем Щербатовым (Г. А.), благородно начавшим тогда хлопотать о предотвращении дальнейших столкновений; 3) что когда я таким образом познакомился с молодыми людьми, которых прежде считал, — как и другие считали, — поднимающими беспорядки, то к удивлению моему получил документы, доказывавшие, что беспорядки поднимаются действием опрометчивости лиц, гораздо старших их летами и почтенных по положению в обществе, — не злонамеренностью, а только безрассудною опрометчивостью этих лиц, — и доказательства были так неоспоримы, что самый яростный из обвинявших в печати злонамеренность гг. студентов увидел себя принужденным подписать и подписал акт, говорящий что в беспорядках виноваты не студенты, а другие лица; 4) что я находил нужным для предотвращения беспорядков то самое, что находили тогда нужным г. министр народного просвещения и князь Щербатов, бывший попечитель Спбургского учебного округа, и действовал в том же духе. — Прошу сравнить с этим «Записку из частных сведений» (дело, л. 48—53).

Другие примеры слухов, столь же неосновательных и столь же вредных мне, отмечу на листах выписки: 35—43; л. 103 след., л. 175 след. — В деле я нахожу сведения и мнимые документы, еще более неосновательным образом введенные в процесс против меня. В дело внесены: статья г. Мечникова, присланная для напечатания в «Современнике» (л. 16—35); «Записка из частных сведений» (л. 48—53) — документ, который будет одним из любопытнейших памятников нашей процедуры для будущего ее историка, и часть которого однако же вошла в окончательный доклад комиссии обо мне (дело, л. 455 след.); две статьи г. Шемановского, присланные мне для передачи г. министру народного просвещения и с его частного одобрения напечатанные в «Современнике» (л. 92 след., л. 109 след.); дневник мой; письмо г. Чацкина о тайнах женщины, имевшей мужа (л. 36). Об ужасном вреде для правительства от введения (в дела политического характера) документов такого рода, я говорю в моей другой просьбе.

Я говорю (выписка, л. 287), что ложное истолкование моих сборов к отъезду в Саратов было основанием решения арестовать меня по поводу письма г. Герцена, и в доказательство ссылаюсь на слова, в которых был передан этот слух мне одним из гг. членов комиссии (выписка, л. 389). Я нашел в деле указания, по которым теперь могу даже поспынить, как произошло это извращение факта, подобное вещам, прочтенным мною в «Записке из частных сведений». Находя в деле приводимые с юридическим значением неожиданные мною психологические сведения обо мне и вывод из этого, что я непременно, уже по устройству моей души, должен быть заговорщиком, я принужден объяснить, что психологические исследования, хотя бы даже

й обо мне, требуют специальной ученой подготовки, которая, например, показала бы господам исследовавшим, что человек, иронизирующий над своими недостатками, не способен резать людей для удовлетворения слабостям своим, если б и имел их; и что приписываемая ему в преступление слабость (самолюбие; тщеславие) прямо противоположна качеству, которое, если и есть недостаток, то уже вовсе не уголовный — качеству гордости, которая, как известно из психологии, только дает отпор дерзким нахам, а без того внушает человеку держать себя очень спокойно (л. 342). Такие объяснения принужден я делать в моем процессе — это факт.

Итак, я должен пояснить, что я известен всем моим знакомым за человека очень уживчивого и мягкого, и, например, работать вместе с Герценом не мог бы (л. 342, выписка) не по неуживчивости моего самолюбия, а потому, что я человек с твердыми убеждениями, которые неодинаковы с убеждениями г. Герцена. Я не хочу этим сказать, его или мой образ мыслей лучше в юридическом отношении, — закону нет дела до образа мыслей, каков бы он ни был, — я хочу только сказать, что я человек более поздней философской школы, чем г. Герцен. Я никак не ждал, что увижу необходимость делать эти ученые замечания в моем процессе.

19

Я говорю, что все слова в письме г. Герцена, которые послужили поводом к моему арестованию, загадочны для меня (л. 303, выписка). Теперь, взглянув на самое письмо, я нахожу это место и сопровождающие строки — вещь, еще более загадочною. Ограничусь одним замечанием. Письмо уже спрашивает, печатать ли объявление о моем соредакторстве с Герценом, — или даже уже положительно говорит, что объявление об этом печатается (выписка, л. 265). Такие вещи не печатаются до выезда соредактора из России. Эта приписка требует очень внимательного исследования, если еще не объяснена самими фактами, которые остаются мне неизвестны.

20

Я говорю (выписка, л. 312), что г. Костомаров очень давно распускал слухи, которые были оставлены без внимания по убеждению других в неудобстве пользоваться его готовностью делать политически-уголовные показания. Теперь, видя, что дело против меня начато серьезным образом на основании письма г. Костомарова к Соколову, я приведу один из фактов, известных не мне одному. Есть другая, более ранняя редакция того же произведения; список ее был у меня под глазами очень задолго до моего ареста, и я не имею средств знать, уничтожен ли подлинный список, писанный рукою самого г. Костомарова. В той редакции дело излагается столь же вымышленным образом, но в духе не том, и с другими фактами (также неверными). В том произведении я играю гораздо меньшую роль, чем III отделение собственной канцелярии его величества: г. Костомаров утверждал там, что его подвергали жестоким истязаниям, и ими принудили делать показания (дух произведения был тот самый, какой вылился из души г. Костомарова на л. 323, оборот, дело).

Я говорю (л. 313, выписка), каковы были мои действительные отношения к г. Костомарову; они доказываются письмами моими к нему, находящимися в деле (л. 305, 306, 307), — я стараюсь помочь г. Костомарову, как человеку небогатому. В одном из писем (л. 306) я стараюсь устроить отъезд его гувернером за границу, — неужели я хлопотал бы об этом, если бы он был моим агентом по тайному печатанию в Москве? — Я говорю, что г. Костомаров был раздражен против меня ошибкою в надежде на мою денежную помощь после его арестования. Он сам говорит, что у него были со мною «столкновения», которые «прямо относятся к его личным интересам» (дело, л. 342), и отказывается пояснить это. О своем ожесточении против меня он много раз говорит в письме к Соколову, — и приписывает его, кроме «личных

столкновений», разности со мною в политических тенденциях; из того, что он говорит по этому предмету, видно, что он сам никогда не имел отчетливого образа мыслей.

Я говорю (выписка, л. 332, 339), что памятный мне по постороннему обстоятельству вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михайловым, сам по себе не представлял ничего замечательного, и что поэтому г. Костомаров плохо запомнил его, — и он сам свидетельствует, что не помнит ни моих гостей, ни их и своего разговора со мною (дело, л. 326).

21

Факты, которые совершились по рассмотрению записки и письма, выдаваемых за мои, — я говорю об актах сличения почерков, — показывают, что без помощи технических знаний и пособий труды для исследования истины во техническим вопросам безуспешны.

22

Я говорил (выписка, л. 356), что если бы находился в тайных сношениях с г. Костомаровым, то нашел бы неудобным посещать его во время моей поездки в Москву по цензурным делам; это повело к тому, что г. Костомаров выдумал особую мою поездку в Москву, — поездку, предшествовавшую поездке по цензурным делам (выписка, л. 420). Этой поездки не было. А во время ее-то именно г. Костомаров и выставляет меня вилевшим шрифтом. Я не выезжал из Петербурга ни на один день в 1860 и до самой поездки моей по цензурным делам в 1861 году. Я не мог бы укрыть своего отсутствия из Петербурга хотя бы на один день, потому что у меня ежедневно бывали наборщики и рассыльные типографии «Современника» за получением статей и корректур по журналу. Мой отъезд хотя бы на один день был бы замечен десятками людей, работавших в типографии г. Вульфа.

23

В показании г. Костомарова Правительствующему сенату обстоятельства его второй поездки в Петербург изложены им так, что мне не оставалось бы времени узнать, что он не уехал в Москву и что я еще могу найти его в Петербурге после того, как он ушел от меня поутру с мыслями ехать в Москву (выписка, л. 416—417). А в эту поездку происходила, по его прежним показаниям, диктовка в Знаменской гостинице.

24

К листу 370 выписки считаю нелишним заметить, что теперь, с месяц я опять гуляю по саду, но опять только по гигиеническим надобностям.

25

Просмотрев прокламацию к барским крестьянам, я вижу, что автор ее еще не имел известий и о Безднинском деле, не только о том, что мужики весною 1861 года вообще неохотно шли на уставные грамоты. Всякий публицист найдет нелепым хлопотать в августе 1861 о печатании такого устарелого произведения. Единственным предлогом для моих придуманных им просьб об этом г. Костомаров придумал, что набор был тогда еще цел (выписка, л. 376). А по сведениям из дела о г. Костомарове и словам его самого, шрифт был уничтожен, не только набор был разрушен, задолго до того времени (выписка, л. 111, 113).

Считаю долгом оговорить опisku, сделанную мною по листу 376 и 380 выписки: проезд мой через Москву был не 17 или 18-го, а 7 или 8 августа.

Листы 387 и 391 (по записке) поясняются (отчасти) листами 264, 313, 349—355, 418 дела, в сличении с листом 229, оборот и 224, обор., строки, подчеркнутые синим карандашом.

Для объяснения того, как и зачем возникло «письмо к Алексею Николаевичу» (л. 396 выписки), считаю долгом просить Правительствующий сенат обратить внимание на то обстоятельство, что мое дополнительное объяснение Правительствующему сенату от 1 июня (л. 282 выписки) прошло через несколько рук прежде, чем поступило в Правительствующий сенат.

Г. Костомаров говорит, что письмо это было найдено им за подкладкою саквояжа еще до его ареста (выписка, л. 418); но на прежних показаниях он говорил, что у него уже не остается улики после представления записки карандашом, единственной улики (зап., 141, 174); ясно, что письмо к Алексею Николаевичу явилось у него в руках уже после того.

Когда явилось это письмо, г. Костомаров уже забыл, что сам говорил в комиссии: «Плещеев (Алексей Николаевич) не имел предположения, что я (Костомаров) занимаюсь тайным печатанием, и сам не занимался ничем подобным». Слова г. Костомарова сами по себе не были бы надежным заявлением факта; но этот факт с несомненностью известен всем сотням людей, знающим г. Плещеева, и, вероятно, уже обнаружен официальными мерами, которые повлекло за собою «письмо к Алексею Николаевичу».

Я утверждаю, что это письмо подлог, и смею на верное ручаться в следующем: сам г. Костомаров, если еще не разгласил, разгласит это. Появление письма к Алексею Николаевичу и надобность объяснить это были обстоятельствами, которых не предвидел г. Костомаров при своих прежних показаниях и в письме к Соколову. Потому показание его 31 июля не сходится с ними. Кроме черт разногласия, приводимых в моем рукоприкладстве, легко найти десятки других. Если бы нужно было, я готов сделать это. Не делаю этого здесь, чтобы не удлинять моей просьбы.

А посему всеподданнейше прошу,

Дабы повелено было освободить меня от суда и следствия, с предоставлением права иска на лиц, которые незаконными своими действиями причинили мне денежные убытки, освободить меня от содержания под арестом и сохранением мне права жить, где мне будет нужно по моим делам, в том числе и обеих столицах, и применить приводимые мною в рукоприкладстве статьи Свода законов к лицам, которые по исследовании окажутся виновными в их нарушении.

Отставной тит. сов. Николай Гаврилов сын Чернышевский руку приложил.

В сей просьбе моей зачеркнуты следующие слова, буквы и цифры: на листе 2-м: 359, на л. 3-ем: сии гиперболы; юр; защищать ч д: факт в; на л. 4: 157; мои; юриспр.; называю себя Арист; даже о ж; К; на листе 5: об; этот; л. 6 писать; кро пер история; уу; л. 7 за которое; объяснения моей жене; 4 числа; гости, как вина видно из упоминания об одном из ни на л. 8 поэма, как шутивно выражается о нем сам г. Костомаров; на л. 9 тут же; что эти молодые после; на л. 10: донос г; л. 394; в пись на л. 11 деле; упоминаем в; выписка л. 4; этих; на л. 12 психологиче; на л. 13 приводимыми на л. 14 шрифт.

К подаaniu надлежит в первое отделение пятого департамента Правительствующего сената 25 сентября дня 1863 г.

Очная ставка, данная 14 октября 1863 года присутствием I отделения 5-го департамента Правительствующего сената отставному титулярному советнику Чернышевскому с рядовым Всеволодом Костомаровым по случаю разноречия в их показаниях, на коей происходило следующее:

Я, нижеподписавшийся, уличаю г-на Чернышевского в том, что — познакомившись с г. Чернышевским при посредничестве г. Михайлова, я получаю от г-на Чернышевского предложение напечатать воззвание «К барским крестьянам», составление которого г. Чернышевский приписывал в то время себе. Дело это происходило следующим образом. Раз, когда я, еще лично незнакомый с г. Чернышевским, был у г. Михайлова, тот предложил мне ехать вместе с ним к г. Чернышевскому. Когда мы приехали к г. Чернышевскому, у него были гости, однако он, перекинувшись со мною несколькими словами, сейчас же увел нас с Михайловым в свой кабинет, и там, после коротенького разговора, начал чтение воззвания к барским крестьянам. Г-н Чернышевский, очевидно, был уже предуведомлен г. Михайловым и обо мне, и о моем согласии, — которое я дал Михайлову, — напечатать воззвание, если оно не будет противоречить моим убеждениям. Но воззвание, прочитанное мне в этот вечер г. Чернышевским, было такого рода, что взяться за его печатание я не мог; однако, в этот вечер я не высказал этого г. Чернышевскому, а сказал это уже после, Михайлову, когда мы, на другой день, читали опять манифест на квартире г. Михайлова. Я высказал тогда свой взгляд на дело и предложил, что если г. Чернышевский будет согласен на изменения, то я, пожалуй, напечатаю его воззвание. С этим предложением г. Михайлов ездил к г. Чернышевскому, и в следующее наше свидание сказал мне, что г. Чернышевский, хотя и с трудом, но все-таки согласился на некоторые перемены. Однако я все-таки отстранил от себя, под разными предлогами, печатание воззвания и вскоре уехал в Москву. В Петербурге оставался приехавший со мною из Москвы г. Сороко, привезший с собою экземпляры тайно напечатанной книги «Император Николай и 14 декабря». Несколько экземпляров этого издания взял у меня г. Михайлов и по отъезде моем Сороко явился к нему за следующими за них деньгами. Тогда г. Михайлов передал уже г. Сороке (или, как мне г. Сороко рассказывал, возил его к г. Чернышевскому и тот сам ему передал воззвание) и передал Сороке уже исправленный текст воззвания, в том экземпляре, который имеется при делах Правительствующего сената. С этим экземпляром и с деньгами, данными на расходы, Сороко возвратился в Москву. Через несколько дней после его возвращения до меня дошли такого рода слухи: что г. Чернышевский приезжал в Москву и отдал Сулину печатать свое сочинение. Слухи эти дошли в то же время и до г. Плещеева, об чем тот сейчас же и уведомил г. Чернышевского. Вслед за этим я поехал в Петербург и, увидевшись с г. Чернышевским, еще раз рассказал ему об этих слухах и предложил печатание брошюры взять на себя. Г. Чернышевский, уверив меня, что все перемены, указанные мною, сделаны, был очень рад передать мне работу. Уезжая из Петербурга, я получил от г. Чернышевского письмо для передачи А. Н. Плещееву. Письмо это я затерял, но через несколько времени нашел его между подкладкой своей дорожной сумки, подмоченное и измятое. В таком виде мне не хотелось отдавать его г. Плещееву, и я удержал его у себя. — Я не утверждаю, в этот ли приезд или в другой — г. Чернышевский диктовал мне в Знаменской гостинице воззвание к старообрядцам. Но если это было и в другой мой приезд в Петербург, то времени между ними должно было пройти очень мало: как то, так и другое происшествие было, что я твердо помню, весной 1861 года. — Когда набор нескольких полос воззвания был сделан, меня посетил в Москве г. Чернышевский и видел у меня все сделанные мною приготовления к печати. На другой день, когда я возвратился из типографии, я нашел у себя записку, оставленную мне приезжавшим во время моего отсутствия г. Чернышевским, где он просил меня сделать в прокламации его следующие изменения: вместо «срочна обязан» поставить «временно обязан». Вскоре после того, как приступлено

было к печати I-й формы (именно в ту самую ночь, когда мы тискали корректуру), я получил записку, предостерегавшую меня от полицейского обыска. Вследствие этого предостережения я прекратил на время работы, причем г. Сулин часть шрифта (я не помню хорошенку, весь [ли] он набор взял с собою) и станка увез [с] собою. Когда г. Чернышевский потом посетил меня во время хлопот о цензуре (когда это было, я не помню, но могло случиться даже на другой день после того, как я разобрал станок), — действие станка было уже приостановлено. В следующее посещение г. Чернышевского, летом, я тоже не занимался уже тайным книгопечатанием, и несмотря на все убеждения г. Чернышевского продолжать печатание воззвания к крестьянам, — я не согласился на это. Был ли г. Яковлев свидетелем этого разговора, я не знаю; но полагаю, что невидимый нами он мог слышать хотя часть нашего разговора, ибо разговор наш происходил в саду, и г. Яковлев мог быть где-нибудь за деревьями или за забором. В сей очной ставке по перечеркнутому написано: «экземпляр» — Петербурга — зачеркнуто слово «его» — Чернышевского. — К сей очной ставке рядовой Всеволод Костомаров руку приложил.

Я, нижеподписавшийся, оставаясь при своих прежних показаниях, отвечаю на улики г. Костомарова следующее:

На очной ставке этой, бывшей 14 октября, он впал в противоречие с своими прежними показаниями; он говорил:

что он ездил в Петербург предупредить меня о слухах, предшествовавших перенесению в его дом печатания прокламации барским крестьянам;

что в эту поездку, — «кажется ему», он не помнит, — было диктовано воззвание к раскольникам;

что, возвратившись из этой поездки, он взял к себе в дом печатание прокламации к барским крестьянам; что во время набора ее, я приезжал к нему (в Москве) и видел набор;

что на другой день, я оставил у него написанную мною записку карандашом; что вскоре он напечатал лист (или четыре полосы) прокламации;

что после того он получил предостерегательную записку;

что после того, он отправил набор или часть набора из своего дома;

что уже после этого я опять приезжал к нему, когда печатание было уже прекращено;

что потом, летом, наш разговор был подслушан г. Яковлевым, которого он после своего ареста увидел только уже на очной ставке (этих слов его, сказанных им на очной ставке 14 октября, я не нахожу в этом письменном его повторении ставки);

а по поводу письма к «Алексею Николаевичу»:

что он поехал в Петербург вслед за предостережением, данным мне от Плещева; что когда он в это время был у меня, я просил его взять печатание прокламации от Сорюко и Сулина к нему, и что — «кажется ему», он не помнит — в этот приезд было диктовано ему мною воззвание к раскольникам;

что в эту поездку его я отдал ему «письмо к Алексею Николаевичу» — Плещеву — и Костомаров не помнит, опоздал ли он (вышедши от меня с этим письмом) на поезд, отходящий в Москву (этих слов, что не помнит, опоздал ли, сказанных им на очной ставке 14 окт., я не нахожу в этом письменном повторении его ставки); что он затерял это «письмо к Алексею Николаевичу» и уже много времени спустя (в письменном этом повторении написано: «несколько» времени) нашел его под подкладкою саквояжа;

и что он сам представил это письмо (этих слов я также не нахожу в этом письменном повторении его ставки).

Эти его слова разноречат с прежними его показаниями, или противоречат фактам, не подлежащим сомнению.

К сей очной ставке отставной титулярный советник Николай Чернышевский руку приложил.

Вследствие напоминания г-на Чернышевского к сей очной ставке имею дополнить, что я действительно на очной ставке говорил г-ну Чернышевскому, что г. Яковлева после своего ареста увидел только уже на очной ставке; что говорил г. Чернышевскому о том не помню опоздал ли с письмом к г. Пле-



щеву — на поезд, отъезжавший в Москву; а что касается до слов «несколько времени» — то, сколько мне помнится, я говорил так и вчера; и что я действительно говорил, что письмо представлено самим мною. К сему дополнению рядовой Всеволод Костомаров руку приложил. Что сверх строки написано «на очной ставке» — то верно. Рядовой Всеволод Костомаров.

На сие дополнение г. Костомарова дополняю, что выражения «несколько времени» или «много времени» не имеют противоречий между собою и что по обстоятельству, к которому относятся они, я покорнейше прошу Правительствующий сенат не считать этой разности выражений важною; я делал оговорку о ней только для соблюдения формы. — Слова г. Костомарова в этом письменном повторении его личной ставки, действительно и сказанные им на самой очной ставке, о чтении прокламации к барским крестьянам в моем кабинете и о переговорах для перемен в ее редакции, я опровергаю согласно в прежними показаниями.

25

Мой аттестат о службе, полученный мною при отставке, должен находиться там же, где находятся и другие мои бумаги, взятые при моем арестовании, — вероятно, в III отделении собственной его величества канцелярии, — или в высочайше учрежденной Следственной комиссии.

Отст. титул. сов. *Н. Чернышевский.*

17 окт. 1863.

26

Мой аттестат об отставке выдан мне в (половине 1859 года) из с.-петербургского губернского правления, в котором я числился на службе.

Отставной титулярный советник *Н. Чернышевский.*

26 октября 1863.

27

1863 года октября 14 дня я, нижеподписавшийся, будучи вытребован в присутствии I отделения 5-го департамента Пр. сената, дал сию подписку в том, что 1) на г. сенатора графа Толстого (Дмитрия Андреевича), имеющего судить дело мое, подозрения не имею и 2) что во время производства дела моего в сенате пристрагия мне делаемо не было.

Титулярный советник (в отставке) *Николай Чернышевский.*

28

1863 года октября 15 дня я, нижеподписавшийся, будучи вытребован в присутствии I отделения 5-го департамента Пр. сената, дал сию подписку в том, что на предъявленного мне г. сенатора Б. И. Бера, имеющего судить дело мое, подозрения не имею.

Отст. тит. сов. *Николай Чернышевский.*

29

1863 года октября 31 дня. Я, нижеподписавшийся, будучи требуем Пр. сенатом согласно изъявленного мною желания для нахождения при слушании записки из дела моего в сенате, дал сию подписку в том, что во все время слушания означенной записки я находился при оном.

Отст. тит. сов. *Николай Гаврилов сын Чернышевский.*

1864 года мая 4 дня, я, нижеподписавшийся, бывший отставной титулярный советник Николай Гаврилов Чернышевский дал сию подписку в том, что решение обо мне Правительствующего сената, мнение Государственного совета и последовавшее на оное высочайшее его императорского величества повеление, коим присужден я к лишению всех прав состояния, ссылке в каторжную работу в рудниках на семь лет и затем к поселению в Сибири навсегда, сего числа при открытых дверях I отделения 5-го департамента правительствующего сената мне объявлено, в чем и подписуюсь.

*Николай Гаврилов сын Чернышевски*

При сем присутствовали: (подписи)